

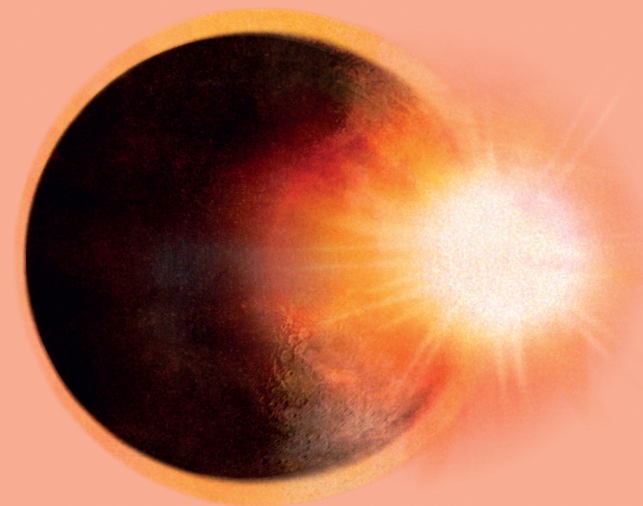
Светотень

Лера Макарова (род. в 1993 г.) — писатель, сценарист. Родилась в Саранске. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (семинар А. Рекемчука). Сборник «Светотень» — рассказы и повесть о современности. Герои Макаровой блистательно разнообразны: это москвичи и провинциалы — студенты, литераторы, врачи, пенсионеры и даже гробовщики. Особенное умение Макаровой — неординарный, острый и нежный взгляд на многие привычные типы, вещи и положения. А стилистическое и психологическое мастерство писательницы преобразует «грубые миры», наполняя их особым светом сопереживания и понимания.



Лера Макарова Светотень

Лера Макарова Светотень



АСПИ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Лера Макарова

Светотень

Рассказы и повесть

Москва
АСПИ
2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-44
М15

*Издано при поддержке
Президентского фонда культурных инициатив*

Макарова Л.

М15 Светотень. Рассказы и повесть / Лера Макарова. — М.: АСПИ, 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-517-09283-0

Лера Макарова (род. в 1993 г.) — писатель, сценарист. Родилась в Саранске. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (семинар А. Рекемчука).

Сборник «Светотень» — рассказы и повесть о современности. Герои Макаровой блистательно разнообразны: это москвичи и провинциалы — студенты, литераторы, врачи, пенсионеры и даже гробocopатели. Особенное умение Макаровой — неординарный, острый и нежный взгляд на многие привычные типажи, вещи и положения. А стилистическое и психологическое мастерство писательницы преобразует «грубые миры», наполняя их особенным светом сочувствия и понимания.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-517-09283-0

© Макарова Л., 2022

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРЕПЕТНЫХ

...Язык — изысканно тонкой, но не манерной выделки, а материал — кажется, прямиком из деревенской прозы или городского физиологического очерка. Эстетское, модернистское с грубым бытовым — не то чтобы уникальный союз, но здесь реальность поднимается за языком: невзрачные периферийные миры прорастают цветами неслыханных смыслов, поселковые девиации дают Шекспира, а социальность уходит в метафизическую печаль.

Рассказы и повести Леры Макаровой населены людьми самого прихотливого устройства: трепет и мощь, рефлексия и поступки, европейскость и домотканость. Макарова пишет своего нового «сложного человека» в остросовременных обстоятельствах — и эти «сложные» составляют восхитительно разнословную Россию. Прапорщик, могильщики, студенты, фотографы, писатели, врачи, крестьяне, слависты — и отдельный, важный тип: талантливые провинциалы, осевшие в столицах и европах, но пребывающие в мучительно нерушимых отношениях с родиной. Миры героев тоже разнесены — по городам, странам, деревенским дорогам и поездкам, аудиториям и коммуналкам, кофейням и кладбищам. Получилось многомерное высказывание не только о непрерывной игре света и тени в русской жизни, но и о ее тонах, движениях, трудноуловимых переходах.

Лера Макарова — прозаик, сценарист, уроженка Саранска — была среди тех, чьи книги рекомендовали к изданию на Всероссийской литературной мастерской для молодых писателей,

которую проводила Ассоциация союзов писателей и издателей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Москве в апреле 2022 года. Уже с первых страниц этого сборника понятно, что перед нами — зрелый, отважный и своеобразный автор, и не одна только Мордовия должна гордиться таким писателем.

АНИСИЯ

Рассказ

По метрической книге за 1912 год она родилась в июле. Грамоте обучена не была и умерла в семнадцать лет. «От родов» — так было написано в графе «причины смерти» под корью, скарлатиной, простудой, поносом и чахлостью. Никто не знал подробностей жизни Анисьи — об этом в метрической книге не пишут, — как она ловила стрекоз на озере близ речки Тавлы и как с семи лет косила на поле траву, отчего к семнадцати годам у нее были сухие старушечьи руки, а личико оставалось все таким же, гладким. В ее честь, а на самом деле ради благозвучия, назвали девочку-праправнучку, которая теперь, через сто лет после занесения Анисьи-старшей в метрическую книгу, шла по центральной площади города, выросшего на месте деревни. Анисии было лет двадцать, не больше, только недавно она поступила в краеведческий музей и очень быстро привыкла к его темно-коричневой тишине и синим теням от посетителей. Мало кому были интересны выцветшие фотографии и карты, рассказывающие о том, в какую губернию переходили эти края то в одно, то в другое время: Азовская, Астраханская, Казанская, Пензенская, Симбирская и снова Пензенская... Редкие ученые-краеведы или ссыльные группы школьников забегали в музей. Анисия могла с утра до вечера ничего не делать: сидеть в маленьком кабинете, отгороженном от зала стеклянной дверью, и читать индийскую поэзию, вздохнуть и прикусывая финиками.

По дороге домой она мечтала об Индии. Оттуда, ей казалось, ее имя и плавные изгибы черных бровей. Все, кто видел

Анисию, тоже вспоминали Индию: она шла в шелковой блузке в турецких огурцах, в сандалиях на босу ногу, с сумкой под крокодиловую кожу, через плечо. Ее обгоняли на перекрестках, чтобы посмотреть ей в лицо, и видели сначала тугой извилистый профиль Ригвед, а потом спокойные глаза из-под густых ресниц. Пешеходы так и шли, оглядываясь, замирая на зебре, как бы зараженные Анисиной безмятежностью, спорили с водителями о том, кто пойдет или поедет первый: вежливый мах рукой — вежливый кивок — вежливый мах — кивок — ну вот, я поехал — он пошел — чуть не сбили. Кричат матом. Анисия пытается разобраться, кто виноват, но что-то ее отвлекает, и легкие сандалии идут дальше, унося на подошвах пыль и белую свежеекрашенную полосу зебры. Ей легко. Ей хорошо. Дома поднос с финиками, а еще инжир, у него маленькие хрустящие зернышки, как косточки в земляничном варенье. Дедушка такое варил, когда был жив, ее любимый дедушка. Поднос летит на пол — тысячу раз он повторяется в ее голове. Первая, вторая таблетка. Сейчас будет Индия и будет легче.

На следующий день она пьет таблетки с раннего утра, так ей не успеет стать плохо. Но в музее стены падают на Анисию, и дышать тяжело, и страшно, и неужели она... Неужели, мама, — как не хочется умирать! Она знает, что это побочный эффект. Это паническая атака. Это накатит и пройдет. И к обеду снова становится легко.

Вечером она идет не домой, а к прадеду, который так безнадежно стар, что давно никого не узнает. Он лежит в больнице в отделении интенсивной терапии и умирает уже два месяца. «Столетник, скоро кончится», — недавно сказали ее отцу.

«Анисья, мама, Анисья!» — хрипит прадед; тогда Анисия, готовая расплакаться от того, что он узнал ее, берет его смуглую руку в свою, шепчет над его головой: «Я здесь...»

ЗАРНИЦЫ

Рассказ

1

Страданий дорога¹. Сажу на каменной ее плите. Безостановочно колотится механическое сердце, бьется откуда-то из-под земли — вмонтировано. Это инсталляция. Вразнобой щебечут птицы. Свежо, ветрено, густо пахнет хвоей. Мне чисто и летуче: внутренняя чернота, столкнувшись с чернотой извне, нивелировалась. Лечь бы на пуховую землю, мшистый покров и не уходить отсюда.

Я напилась досыта: комендантша сжалилась и дала стакан воды — на дне его плавали хлебные крошки. Здесь — крошки умирали, здесь они возносились. Здесь я ощущаю себя наконец-то живой: чувствую, чую, слышу. Хвоя и дым. Воскресный банный день. Комендантша вышла ко мне, наспех накинув махровый халат на свое голое крепкое тело, она наклоняется — и полные ее груди бултыхаются рыбинами, волосы на голове в красной пене — красится в рыжий.

Мы сюда приехали на желтом автобусе, отправляющемся с Москачки каждые полчаса — прямо в хвойный прибалтийский лес, прямо в Концлагерь. Листва только проклюнулась, день погожий апрельский — жаркий, тихий, такой — что свитер

¹ Страданий дорога — имеется в виду «Дорога страданий» — часть Саласпилсского мемориального ансамбля на месте концентрационного лагеря, созданного во время Второй мировой войны на оккупированной нацистской Германией территории Латвии.

снять и повязаться им, такой — что пить все время хочется; но все-таки хорошо и спокойно, только конфет не взяли.

— Что, с ума сошли, без конфет?

— А зачем они?

— Там же дети... Как зачем!

— А зачем дети в Концлагере? — подруга спросит меня тихо.

— Хороший вопрос, — смущенно пожму плечами.

Что было после Концлагеря — все уже не так важно, а вместе с тем, наоборот, — важно-преважно, архиважно.

— Пойдем, — сказала я, — отсюда. Пойдем жить и есть миногов!

На Москачке мы пили «Мадам Черри» и чай с чили, закусывали орехами и черными сливами. Губы становились то солеными, то сладкими, острыми — чаще. Все сочилось рижским бальзамом, бар-рыбарня завлекал, мы напились и натанцевались, и мы смеялись, грустили, успели поругаться, снова смеялись.

Опомнилась на полпути к аэропорту, когда она сказала — смотри, какое небо. Взглянула: да, все как в поволоке, а по кромке вспыхивает электричество — кажется, далекие зарницы.

2

Договаривались — и оно наступило, это мистическое 7 р. м. — время, когда встречаться без опозданий. Московским ребятам проще жить в двенадцатичасовом лондонском режиме — пожалуйста, будем играть по их правилам. Хотя почему «по их»? Ведь они такие же, как и я.

И не получается — без опозданий.

Иду мимо краснокирпичных домов, бывших фабрик, а ныне галерей. Переулки виляют, сбивают с пути. Сколько назад, лет пять? — впервые ехали через весь город в Сыромятники ради

лекции известного во всем мире архитектора. «Посредством новейших технологий, — говорил он, — доставить тропики в северные города, климат поменять, парники натянуть, с крыш пустить лианы, плюс асфальт с подогревом, ходить в бикини — быть ближе к естеству». Рукоплескание в бродильном цехе.

Недалеко от Яузы, где мартовский пасмур сгущается в туман, по набережной ветер гонит шалый, сквозной — и думаешь: может, правда, сменить весь этот климат?.. От ветра начинаешь клекотать: за шиворот хватает, трясет тебя, точно ты колокольчик, а язычок внутри по небу делает дон-дон. Позднее объясняла так Алесе. Она стояла хмурая, с покупками в руках: пока ждала меня, взяла шелковый платок и ободок в искусственных цветах.

— Ну ладно, не фатально, — соглашается, — опоздала так опоздала.

— Ненастье, бури — понимаешь, — продолжаю.

— Магнитные, ага.

— ... и видимость нулевая.

— Это еще не вечер. Ладно, я тут что... все обошла, давай теперь с тобой по второму кругу.

Следующие несколько часов проводим в арт-квартале, огороженном от остальных Сыромятников колючей проволокой. На запястьях флуоресцентные штампики, в ультрафиолете их цвета становятся кричащими. О том, что входной билет оплачен, блуждай сколько влезет — сколько влезет жареного израильского фалафеля в местных кафе, сколько влезет кофейного пойла, сколько влезет побрякушек с прилавков, наспех к фестивалю сколоченных. Мне быстро начинает казаться, что нас сюда насильно согнали, что не нужно мне ничего. Заключили в колючие объятия — и хочется удрать скорее. А кто-то ведь засиживается, пока поздно не станет, коптят кальян и уезжают все чаще на такси конторы Uber.

Что нам теперь, Лесь?..

Ночь набежала.

Гносиенну — одну из трех у Эрика Сати — будет играть джаз-банд, и будет каша из крестьянской полбы в меню; здесь часто хипстеры бывают, тоже будут.

Мои подруги все как одна откуда-то. Рано или поздно выкарабкаешься — всем как одной говорят. Получишь диплом о высшем, прекрасном и светлом. Скорее всего, он будет красным. Ключи будут сданы коменданту — начнется завихрение круговой поруки: получил зарплату — оплатил угол, получил — оплатил, пол — опл, по — оп. А дальше, например, ипотека — говорят они, — ипподром. Нет, только не под уздцы, не в ярме, не с шорами на глазах — не любо! — ни мне, ни Лесе.

Любо сдуть одуванчик полностью, да, любо, когда все получается. И запеченный варенец ей любо: на Камчатке, в картонном стаканчике, 14 рублей, 12 лет назад, — корочку выбрасываешь и ешь. Любо, когда свет отключали раньше — профилактика по городу, — приходилось зажигать свечи и играть всей семьей в лото при свечах. И треск кинопроектора в старых кинотеатрах. Диафильмы. Цветные фонарики с трафаретными фильтрами. А еще девятый майский день: забыть, что за день, но зная — будет обязательно безоблачно, — из города выбраться в лес, как можно дальше, глуше, дремучей; устроить там, в тиши, пикник. Давай, Леся, пока в леса твои не напустили заводных пластиковых зайцев, а то будет время — над городами парниковые брезенты натянут, не будет ни облаков, ни туч — не надо будет их разгонять, выбираться никуда не надо будет: субтропики!.. субпродукты, субсудьбы. Страшно, Леся. А небо в этот девятый майский день что так — с разогнанными тучами, что эдак — под брезентом, — неестественное, какое не забыть: всплывет. Что разогнано было, обычно возвращается в двукратном усилении.

Рассеиваться, растушевываться ей любо. Закрыв глаза, мантру включил — она змейкой застелилась по стенам ободранным,

по полкам с книгами, по подоконникам и под ними — и будто не в московской комнате снимаемой. Лесь, а ты когда-нибудь растушевываешься до своей Камчатки?..

— Ну как, — я продолжаю, — все чахнешь над своими документалками?..

Она рассказывает.

— Слушай, — перебиваю, — ты так хотела путешествовать, ты путешествуешь сейчас?

— Да, прямо сейчас мчусь вокруг солнца, — она смеется. — Ездить — давно уже никуда, нет, не ездила. Последний раз даже не помню когда... Кажется, снова в Питер.

— А с кем, одна?

— Можно сказать, одна.

— Почему «можно сказать», а не просто сказать — одна? Пожимает плечами, улыбается своей Лесиной улыбкой.

Ни у кого больше нет такой улыбки, людей много, а улыбки нет. Много разве?.. Просыпаешься или бежишь-опаздываешь, как сегодня было, — озираешься, а вокруг всего-то пара человек. Я хотела сказать ей, что в этой паре узнала и ее — и тогда в этой серости, которую даже 240 ваттами из навороченной дизайнерской люстры не перебить, — расцвело, расцвело бы; но не сказала ничего.

Она продолжила...

— Вместо поездок деньги в другое. Бывает, благотворительность. Но не такая: какой я хороший, сейчас кому-нибудь помогу — и про меня напишут в газете. Нет, не такое. Реальным знакомым.

— Это кто же?

— Те, с которых все начиналось, первые мои московские люди. Они же горели, они страдали! Кто на телевиденье хотел, кто в экспедицию по Ледовому. А сейчас что с ними? Рассуждают... Ну ничего, не режиссером — так хлопущкой. Не по Ледовому — так охранником на овощебазу. И это не на время,

не в качестве перевалочного пункта до рассвета. И так сойдет — платят же. Ой, да и вообще, нужно ли...

Я вспыхнула, потому что мне показались несправедливыми Лесины слова. Да, в ней нетерпимости с лихвой, во мне и самой ее хоть отбавляй, но толку-то от нетерпимости, лихвы и даже бунта. Бунт — он мир не перевернет, он только может взять за грудки и встряхнуть, может поменяться строй, но по существу ничего не поменяется: строй другой, а ходить все тем же строем.

Да, она проверяет людей, я и сама пробую людей на зубок — тверды ли оказались, аль денте? — стойкие оловянные солдатики или как?.. Люди, которые были вначале, — рассуждают теперь, она говорит. Значит ли это, что не аль денте?

Недавно была в гостях у Славы — нарочно и пошла, чтобы узнать. У Славы — слабосильного, хлебосольного, малахольного, меланхоличного: уложился весь ровно в четыре определения; а имя его родители ему дали, видимо, для пущего контраста.

— Он стал более пофигистичен и меланхоличен по сравнению со Славой пятилетней давности.

— Куда меланхоличнее?

— Сейчас уже некуда. А пять лет назад, значит, было куда.

— Это было давно и неправда.

Неправда, потому что у них тогда зарождался роман и они его вовремя снесли в абортарий: а зачем со слабосильным, хлебосольным, малахольным, меланхоличным? Сейчас они с Лесей, бывает, перебрасываются ранними утрами — в тот час, когда про своего собеседника гадаешь: не ложился или только встал? Сердечками одаривают фотографии и посты друг друга, только и всего.

Я говорила Славе: «Рахманинов свою прелюдию — в девятнадцать!» Он: «А мы к своим годам — что?» — «Да! А мы — что?» — «Имею ауру задрота, веду кочевой образ жизни от матча к матчу, и у меня есть одеяло, под ним провожу все воскресенья — отсыпаюсь, вот и все».

Заткнуться улитками гарнитуры, вставить их в ушные раковины — слушать. Может, того же Рахманинова, рысью лавируя в толпе. Раньше, наоборот, я помню, он любил слушать окружающую среду.

— И что там Слава, — покраснела Леся, — как поживает?

— Следует за футбольной командой второго дивизиона. Пишет про них нехитрые статейки. Ждет случая уйти в другое место.

— Вот именно, — сказала она, — что мы все ждем.

И тут мне вспомнился «Катцельмахер» — как у меня с ним не вышло любви с первого взгляда: показался скучным и будто больным анемией, — только потом я разглядела его прелести. «Катцельмахер» Фассбиндера, фильм.

— И что там было?

— Переминались с ноги на ногу весь фильм.

— А в конце?

— А в конце ничего, фильм закончился. Все время переминались с ноги на ногу, еще трепались.

— А что потом?

Больше я ее не слушала, чашку за чашкой чай, была где-то далеко. Вернулась, когда уже вышли из арт-квартала в глухую ночь, надеясь, что для нее еще ходят трамваи и для меня — метро.

— Ты как будто не здесь весь вечер, а... Да кто тебя знает, где ты. Смотри, какое кино, хоть бери камеру и снимай.

Меня тут же осенило:

— Слушай, Лесь, а ты хоть в титрах есть в своих документалках?

— В титрах — да. В титрах я есть. Конечно. Хронометраж у нас сорок минут. Обычно я появляюсь между тридцать восьмой и тридцать девятой. После первых четырех редакторов иду. Ну, иди давай и ты... Давай-давай, только не заблудись снова, по трамвайным путям... в ту сторону... в той стороне они как раз к «Курской» станции.

— А хорошо — в центре?

— Удобно.

Обнимаемся, она уходит к трамвайной остановке, ей тут неподалеку.

— Леся, — вдруг кричу, что есть сил, — подожди минуту!
Возвращается, смеясь, надела ободок в цветах.

— Минутка есть. Пока не тридцать восьмая, мне не в титры.
Я молчу.

Что нам теперь, Лесь?..

— Поедем в путешествие?

— Куда?

Что толку, какое замечательное слово — «бестолку», — гораздо лучше, чем «бесполезно», образнее: толочь, толокно, пыль; уложилось в три определения. Особенно под землей, в толкотне метро задумываешься — зачем. В карманах позвякивает: из заграничной поездки деньги — обмениваешь рубли на евро мелочовку и тратишь ее так, как и принято тратить мелочовку; и самое ценное тоже так тратишь.

Леся ушла, а я еще долго стою и смотрю. Не могу шевельнуться. Кругом сейчас, и правда, бери да снимай, бери да беги, запечатлей скорее — оно ждать не будет, не заостенеет. Ускользающей красота может быть, костенеющей — никогда. Значит, для чего она, красота? — в качестве контрапункта ко всеобщему остальному, то небольшое, ради чего хочется оставаться и пребывать — и в горе, и в радости; во веки веков, Аминь.

Сыро-слякоть, туман нанизывается на острые прутья ограждений, как при тюрьмах или отделениях психосоматики, слабые блекнувшие огни, расчеты: дома первые и бисы. Одуванчик хочет полностью — конечно, кому хочется четвертым, пятым редактором... Слышу: электричка въезжает на мост — ее очертания еле просвечивают сквозь туман, как ребра юной анорексички; проносится. Меня ослепляет — это под мостом трамвай делает вираж — и снова в туман.

Иду по рельсам, как советовала Леся. По левую руку — книжный. Зарешеченные окна, на подоконниках рядками журналы и талмуды, сласти в аптекарских коробочках — от уныния, от забот, от хандры, неверности мужа и превратностей судьбы. Куда идти, не разберешь. На мокром асфальте валяется смятая пачка «Кента» и еще дымится сигарета. Тут с минуту назад кто-то был, можно было пожаловаться и спросить дорогу. Кто-то дымил — сейчас никого. Досмотрю дымок и нырну наугад в изрисованный граффити туннель — под кирпич — автомобили не заедут, можно идти посредине дороги.

Одинокий пьяный путник поет в этом туннеле и прислушивается к своему эхо. Страшно. Но не он, одинокий и пьяный, меня пугает, а то, что сквозь туман, в туннель — втуне ли? — идти. Вот что страшно, что жутко. Как будто заранее какие-то бури нас размагнитили, изнасильничали, нараспев:

из-нас-силы,
из-нас-силы...

Хоть бы один человек навстречу, хоть бы один человек. И этот пьяница еще поет, старается. «Куда идти, а?.. Ты кто?» — кричу. — «Нет никто!» — «Никто, вот дурак, а!» — и спотыкаюсь о рельсы, каблук застревает. Никто не заливается смехом. Никто не подает руки. «Идет она, — думаю я, — качается, вздыхает на ходу: вот-вот... сейчас... кончается...»

Сыро-слякоть, туман нанизывается. Неправдоподобно, ни разу. Выкарабкаешься, они говорят. Вжаться бы в стену, зарыться лицом в рыхлых мучных руках. Никто больше не поет. Ноет у меня, ой как ноет. Светает у кромки туннеля. Выхожу. Похолодало, и туман рассеялся.

Впереди девушка — ну наконец-то, наверняка к метро, пойду за ней. На ней пальто красивого оттенка ламинарии, попросту морской капусты, оторочено мехом — очень к месту сейчас;

она втягивает шею в ворот, как пойманная: сейчас выпустит когти и ощерит клычки. Интересно, какая, а? Мне кажется, что если она обернется, то у нее окажется мое лицо, — только пусть не оборачивается, пусть — безлицей куницей. Может, дома у нее все как у меня: книжки на подоконниках, свертки с кофе, стены ободранные. Нет, у такой ободранных стен быть не может. И любимой пижамы, изрешеченной причудливой россыпью дырок, словно кружевом, тоже быть не может. Не может быть и долгов, и косяков в институте, а вот косячки в сумочке и парень быть у нее могут, и даже муж. Потому как — а я приноровилась отличать — она, скорее всего, здешняя, живет недалеко от «Атриума».

Какой-то ресторан, на асфальте лепестки роз — она прямо по ним, вдавливая их каблучками в грязь, — тут кого-то недавно поженили. За углом горит красное сердце магазина интима, и она внезапно уходит целиком в него, а я остаюсь. Не страшно. Мне совсем не страшно. Мне ведь одной любо. Люб аромат осеннего прелья. Эта мокрель — любя. И дождь, после которого пушится липа. Ламповое освещение. Марципан. Малиновые и изумрудные крышечки с бутылок советского молока. Не еденные никогда миноги.

ЧЕТЫРЕ СТЕНЫ И ЧТО-ТО ЕЩЕ

Рассказ

Высоки сталинские потолки. Чужой сын плачет за стеной. Сядешь на пол — почувствуешь себя такой же крошкой... хлеба ли, фасада. Лампочки под самым потолком чуть светят; к полу, по углам — все в тених шестидесятитрехлетней давности — столько лет дому.

Оказалось, что все наши звезды были всего лишь лампочками.

1

В первый день, как Вороника переехала в эту коммуны на севере Москвы, втридорога заплатив за комнату, не было воды. У соседок запасов набралось ровно на столько, чтобы выпить по чашке чая с душицей и обледенелой кускообразной земляничкой, которую она привезла из своего предыдущего дома — откалывать вечерами по кусочку. Сколько же их было — домов! — казарм, пока отец был жив, а потом комнат, углов, проходных... Но не приведи никому видеть тех людей, что будут жить после вас в этих комнатах и квартирах — и до вас тоже. Вороника видела всех, кто жил здесь когда-то.

Ту красавицу-полячку, любившую советского офицера. Мужчин, бреющихся гладко, до глянцевого сияния, работников каких-то ведомств. Заведующую складом что ли?.. От нее пахло лавром, и у нее был сын. Когда-то здесь жили хорошо, живо: со скандалами и настоящим битьем посуды, мальчишки когда-то гоняли по просторному коридору на велосипедах.

Здесь жили семьями, но с каких-то пор перестали жить всерьез — так, на время, *до лучших времен*. И хотя из каждой комнаты проросли шнуры с высокоскоростным интернетом, все осталось прежним: народ теснит Москву, и вот обычные свежие квартирki уже кроют и перекраивают в шотландскую клетку.

От прошлых хозяев в этой коммуналке не осталось ничего, кроме тех самых высоких потолков и кое-какой скудной мебелировки тридцатых годов, которая не менялась с первого заселения. Громоздкие комоды на полжилплощади, одиночные шатающиеся стулья и прогнившие разболтанные софы. В тот же день, сидя на софе в своих восьми снятых метрах, Вороника поняла, как устала создавать уют. Будто весь ее запас женского огня для всех семейных очагов — нынешних и предстоящих — угас. Раньше она переезжала с места на место со свертками книг и когда-то с цветами в горшках. Но цветы не люди, не выдержали и погибли. Холодно, и надо бы скорее разбирать сумки, скорее, чтобы начать снова жить. Но вместо этого она сползла с софы на пол и стала смотреть на свой новый мир — на стены, потолок и лампочку, висящую на шнурке провода. Ей вспомнилась детская песенка:

Как мы были юны и молоды —
тогда,
без дна.
Как стучали сердца,
как молоты,
бесконечно твердя —
всегда.

И казались стены расколоты. Сын чужой за стеной от голода сумасбродничал.

Ночь пришла.

Ночью кто-то скверно играет на губной гармошке, кто-то с этого этажа. Воронике снятся сумбурные сны, яркие сны, где все перемешано и перевернуто, где со стен сдирают обои, и под одним слоем оказывается другой, а потом газеты, газеты, газеты — слоя в три, не меньше. Помните, раньше на стены сначала клеили газеты? И вот там, по второй программе, в 19:55 — «По Индии» (цв). Документальные фильмы. 20:45 — реклама, 21:00 — «Композитор Л. Бетховен». В 21:30 — «Топаз», телеспектакль (цв). И все не заканчиваются эти передачи. А еще глубже, откуда-то еще раньше, но сейчас повсюду в интернете:

Офицер. Симпатичный и красивый, получающий 150 руб. в мес., ищет в целях брака молоденькую барышню, маленького роста, худенькую, кроткую и без прошлого, имеющую 3 тыс. руб. Все остальное безразлично. 16 почт. отд. предьяв. 3 р. бум. № 330661

И смеялась бы полячка над такими русскими офицерами, живя лет на тридцать раньше. Стены вами только клейть, господа офицеры.

*

На второй день дали холодную воду. Газовая колонка служить отказывалась и воду не грела, холодильник тоже не работал, да и еды не было. Это было воскресенье. Весь день вчетвером соседки пили чай, потому что это верное средство от отчаяния. Вороника приглядывалась к этим трем женщинам...

Марина была совсем ребенком — кудрявая тоненькая девочка-стрекоза двадцати шести лет отроду. Худые коленки, подвижные запястья и пальчики с красными коготками, этими пальчиками она печатала в офисе сложные отчеты.

— Земль-а-ника, подумать только! Насто-ящая, в декабре, в Ма-а-скве, — удивлялась она, растягивая слова.

Две другие соседки носили одинаковое имя, бывшее популярным в шестидесятых годах, и Вороника, чтобы не путаться, нарекла их Одной и Другой.

Одна жила вдвоем с Мариной в большой комнате, которую прозвали Колизеем: «Хто бы мох подумать, шо у нас комната как Колизей окажется! У меня такая квартира в Ставрополе, как одна эта комната!» — «Зачем же тогда в Москву, на съемную?» — «Денех-то нет, на жилплощадь накопила за двадцать лет, а обставить уже ненашо. Сынка, глядя в пустой кошелек, так и ушел в армию. А шо я сделаю, если кому надо заплатить, нет денех? И дочке на свадьбу... Знаете, какие мужики нынче пошли... э-э-х!» — машет рукой.

«Всегда так было», — веско говорит Другая, глаза у нее черные и цепкие, сразу видно: хорошая торговка. Она работает в туристической фирме, выдает по акциям сертификаты «бесплатного» отдыха на Канарских островах.

Другая — единственная на этой кухне москвичка, и квартира у нее есть, да еще и в пределах Садового кольца, давно и задорого сдана вот уже как лет пять. Все знают, что Другая эти деньги перечисляет куда-то за границу кому-то на лечение, но куда толком, она не рассказывала никогда.

Всегда-всегда. Бесконечно твердя. Между ними, на кухне, сидит и тот нищий офицер, припечатан газетами к стенам. Положа ногу на ногу, он внимательно читает этих женщин со своего газетного листа, понимает: ни одна не была бы ему женой, деньги здесь уж давно не водились. Вороника замечает его белый китель и от неожиданной мысли чуть ли не подпрыгивает:

— А кто живет в четвертой комнате?

Мужчина. Но он здесь почти не появляется. Хозяйка (она же Наймодатель по договору) сказала, что приходит изредка, чаще ночами. И сразу уходит. Его вещи — это два стула на кухне, зеркало в ванной и старая стиральная машинка в коридоре. Поэтому на стулья не садиться и в зеркало не смотреться.

— Мы его тоже не вид-ели. Инте-ресно, что за ма-а-сквич! Молодой ли?.. — хитро улыбается Марина. — Не дай бог, чтоб женат, — она стучит по дверному косяку, живописными кусками с него осыпается краска.

*

На такой же кухоньке, но на Арбате, уютился у своего племянника скульптор Степан Эрзя, вернувшийся из латиноамериканской эмиграции. Он привез из Аргентины 180 своих скульптур весом в тридцать пять слонов, целый пароход был арендован, чтобы доставить их в порт города О. И вы понимаете, что ни в одну кухоньку тихих арбатских переулков столько слонов не втиснуть.

Вороника, думая об этом, прикрепила над кроватью небольшую открытку с Калипсо Эрзи. Поверх слоев обоев и газет, поверх стен, пропускающих ветер. Холодно жить на севере Москвы, но с Калипсо стало теплее. Вещи были все еще в сумках, а сумки не раскрыты, не разобраны.

«Что не торопишься, — выпрашивала Другая, смотря черным взглядом. — Чем скорее приживешься, тем лучше. Студентка? Хорошо». «Холодно у нас, — вторила Одна, — под двумя одеялами спи». Они ждали от нее истории: как, зачем, откуда и, главное, почему сюда, к ним? Но Вороника не рассказывала и только поила их чаем с душицей, а они были рады и этому.

К вечеру заработала колонка. Попеременно шла то ледяная, то горячая вода, причем они так резко сменяли друг друга в кране, что... здесь просто представьте крики. Возвращаясь в свою комнатку, в свой коробок, Вороника с непривычки вре-з-а-лась в соседскую стиральную машинку и крепко бранила хозяина, а когда проходила мимо запертой двери его комнаты, останавливалась на пару минут и прислушивалась — может, есть кто?..

Воронике снилась та женщина, что жила когда-то в этой комнате до нее, заведующая складом.

— Да сделайте же что-нибудь!.. Так жить невозможно!

«Сделаем, сделаем, только время! Мы же новые люди, мы новые люди!» — успокаивала ее Вороника, черт знает как оказавшаяся в том времени; ей было так стыдно и так неудобно; не уживемся — понимала она.

Следующим днем в комнате пахло лавром, и она уже знала, что пора делать. Уверенным шагом она вышла из коммуны, прошла лестничную площадку, сплошь зеленую и потрескавшуюся, на которой стояли пять фигур с запрытанными лицами и дымили вокруг жестянки. Вороника прижалась к перилам и быстро сбегала вниз, мимо них, мимо сиреневых паров, но даже на следующем пролете она чувствовала, как пристальные, нехорошие взгляды цепляются за ее пальто, волосы, сумку. «Нож с собой носить», — подумала она.

— Сангин, где Сангин? — открывает она дверь университетской аудитории, там пусто. Она оборачивается и сталкивается с высоким сидящим мужчиной.

— А я вас ищу везде. Скажите, можно договориться с общеститиями других университетов?

— Вам негде жить или вам не нравится?

Да, не нравится: там холодно, там нет воды, а когда есть — кипятик из кранов, там соседки-сплетницы на кухнях, там жили, жили... разные, и чего-то от нас требуют.

— Нет, — почему-то сказала она, — мне все нравится. Простите, я не подумала.

В университете, на литературе она точит карандаш, а потом, возвращаясь поздно вечером в коммуну, крепко сжимает его в кармане; но никого нет, только невидимые собаки поскуливают.

*

По полу растекались лужи, как будто крыша продырявилась, и декабрьский дождь залил полы. Но потолок был по-сталински сух.

Пришла Одна или Марина — живя в Колизее, они стали так похожи, что шагали по коридору почти одинаково и одинаково открывали двери, — принесла с собой запах московских улиц: тяжелых женских духов, сигаретного дыма и прогорклой свежести. Она, кажется, все-таки Марина, курила в туалете, и синтетический освежитель воздуха «под морской бриз» не смог забить никотиновой горечи. Потом Марина, тихо пробираясь по коридору к кухне, ударилась о соседскую машинку и в который раз уставилась на красные огоньки крутящихся счетчиков. Они крутятся, не переставая, днем и ночью, Марина уже привыкла: остановится, посмотрит-посмотрит и дальше пойдет. «Аййй, кто тут что-о-то разлил!» — крик из кухни. А на кухне, лет пятьдесят бы назад, сидел маленький мальчик, заведующей сын, мечтал увидеть море и рисовал синей краской на полу лужи. Вороника видела это минувшей ночью, поэтому с утра, когда Другая вешала сушиться простыни над газом, как накапало, так и осталось — пусть море.

Вечером звонили из города К., из города Т., из города О.

Вороника спрашивала, как поживает их море. А оно, аномалия! — замерзло. Только вчера бушевало в декабрьской пляске, а сегодня замолчало, таким и оставшись: в волнах, в белой ледяной пене, с открытым ртом. И все бросились ходить по морю, как по бульвару. Вот так невидаль — ходить по морю!..

Связь была паршивая, поэтому слышно через раз. Они поговорили о каких-то мелочах, не вдаваясь в подробности, не строя планов, — было ли у них будущее? Было настоящее — 1136 километров от московской коммуны до квартиры в городе О.

— Что это за цифры такие километров? А если годы, что тогда было, интересно?.. (Открывает Google). О, представляешь, восстание в Новгороде! Может, тоже восстание поднимешь? Давно ведь пора. И ты когда-нибудь оттуда уедешь.

Сказали ей так просто, и связь наконец-то оборвалась, гудки: «ауп-ауп-ауп».

Вороника смотрела на высокий потолок в дымчато-желтых подтеках и чувствовала, как на запястье бьется венка — кричать! Ей вдруг захотелось лета и голых улиц в звенящей листве, и стало страшно: она растрчивает свою любовь по этим съемным квартирам, она умирает и распыляется на будничные молекулы — поесть, поспать, заточить карандаш, уберечь себя. Но кто убережет всех их? Она думала голосами заведующей, офицера, полячки, скульптора... ВСЕХ. Кто убережет? Не дав распылиться, как старой ветоши в шкафу. А эти шкафы... С этими шкафами, оказалось, можно смириться.

2

САМОИЗГНАННИКИ

В центре Москвы зимы не было, а та, что падала на мостовые мокрым снегом, быстро истаптывалась в грязь; только у некоторых памятников на бронзовых плечах лежали свежие белые эполеты, и маленькие москвичи тянулись к этим титанам с улыбкой.

Сангин стоял, опираясь на кафедру и глядя в окно, и рассказывал студентам историю. В аудитории было жарко, крепко топили. В студентах — Сангин был уверен, что это так, — пыла и жара еще больше, даже в тех, что вяло потягивают энергетики на задних партах. Кто-то ворвался в аудиторию, опоздав на половину лекции, и принес холода с улицы, отчего рассказ Сангина, тоже холодный, стал явственнее.

...Их распределили на Север. Пятьдесят километров от границы с Монголией, и не смейтесь, для них это был север, потому что зимой минус сорок. Я вижу, что не все поняли, у гуманитариев, видимо, плохо с географией. Республика Бурятия. Кто-нибудь есть из Бурятии? Да что же, все москвичи, что ли? Вижу, да. Вот из глубинки, знаете, какая мощная сила идет! Ну так вот, они приехали в небольшой поселок, остановились

в доме у главы, и их сразу же повели к местам распределения. Святослава в редакцию, а Егора в Дом культуры — одноэтажное кирпичное здание с дырявой крышей и крыльцом, они прозвали его Дворцом культуры. Вечером у главы за чашкой чая, соленого и огненного, что больше похож на бульон, друзья спрашивают, где, мол, жить будем? И глава поднимает шторку и показывает рукой, видите те шестнадцать домов?.. В них еще никто не живет, да и вряд ли будут, людей у нас мало. Выбирайте любой, а в нем целый этаж — живите. Так у Святослава и Егора за один вечер появилось три квартиры на двоих: в первой было отопление и свет, но не было газа; во второй было отопление и газ, но не было света; в третьей — ни отопления, ни света, ни газа — ничего. Ее сразу же стали держать за холодильник, загрузили в квартиру несколько прокопченных говяжьих туш, мешок овощей и ящик консервов. Галерка, перестаньте шептаться, не так уж весело им было. В редакции ничего не соображали и очерка от эссе отличить не могли, в Доме культуры не было ни одного инструмента, только бубен и ложки... железные... из столовой. Когда у тебя три квартиры — это тоже не очень удобно. Но ребята нравились бурятам, те тащили им со всего поселка еду, мебель, посуду, даже оленя привели, вот чудаки. Зимой делились с ними жирной мазью для лица. Минус двадцать — стало для них курортной температурой, минус тридцать — немного прохладней, минус сорок — уже нормально не покуришь, надо варежки надевать. Но самое страшное было, если поднимался ветер, тем более, если ветер с Монголии. Тогда острые ледышки раздирали кожу до крови, а потом снимали ее с тела, как наволочку с подушки. (Пауза.) Считайте, что я пошутил. Два года они так жили, под конец Егор стал называть свой Дворец культуры ласково, выпросил у главы откуда-то светлой краски и сам выкрасил кирпичную коробку. Влюбился — понял Святослав, и когда истекло их направление, то уехал в Москву один,

чтобы не мешать молодоженам своей ходьбой по их трем общим квартирам.

Сангин перевел взгляд с окна на аудиторию, его смешная бровь, почему-то наполовину седая, дернулась, и он криво улыбнулся. Десять рядов перед ним было, и каждого сидящего он знал по имени и кто какой по жизни, а они и половина не помнили, как его зовут, так — Сангин да Сангин.

...Это было в мою молодость, для вас, конечно, времена допотопные. Все так и есть, потом был потоп и мир перевернулся. Думаю, 1991 год вам о чем-нибудь говорит, кроме вашего скорого появления на свет... (Долго молчит.) Уехать сейчас куда-то... Зачем? Раньше так геройствовали, не осознавая героизма, сейчас этим живут. Я бы сказал, что люди стали самоизгнанниками.

*

Это только потом Эрзе выделяют квартиру-мастерскую на 2-й Песчаной улице, и в подвале он устроит выставку своих скульптур. Мастер сам, в рабочей одежде и с неизменной трубкой, будет встречать гостей. Желающих посмотреть скульптуры окажется так много, что около обычного сталинского дома будут выстраиваться длинные змеиные очереди как к ГМИИ им. Пушкина.

Очереди уносились по тротуарам, оплетая, сбивая с толку. Люди, стоя один за другим, — арестанты перед расстрелом — ожидали маршрутки, и людские эти потоки были нескончаемы. Вороника обрадовалась, что ей не удлинять очередей. Пешком, всегда пешком.

Днем вдруг наступает лето: тают ледяные корки, заковавшие асфальт, в университетскую аудиторию солнце заходит без стыда и палит нещадно, прожигает в одежде дыры. Лица становятся белыми. Студенты играют в театр теней: показывают на стене нильских крокодилов, майских птах и прочую

живность. Те, у кого есть карманные зеркальца, делают зайчиков. Вороника сидит, уткнувшись в монитор ноутбука, морщится от света. На экране горит расписание поездов в город О.

— Что ты все пытаешься успеть? — винит ее однокурсник, заглядывающий в экран. — Помнишь, как у «Битлз»?.. — он хочет напеть песню, но Вороника его перебивает:

— Не старайся, я все равно не знаю...

— Тогда по-русски: ты либо сидишь и учишься, либо все остальное.

— А если я на заочный переведусь?..

Она лелеет эту мысль, возвращаясь в коммуну. Другая идет той же дорогой к метро, под ее черной искусственной шубкой новый костюм, а в голове выстраиваются комбинации того, как она сегодня будет уламывать клиентов на пять звезд. У поворота они проходят мимо, друг друга не узнавая. За пределами коммуны соседки — другие люди.

Вороника спешит к ларьку с выпечкой, собирает из всех карманов мелочь и долго отсчитывает на самый простой пирожок.

— Может, хлебушка домой возьмете? — спрашивают ее ележным голосом.

Вороника улыбается:

— Нет у меня дома. Нету — и так вот.

*

Как-то Одна затеяла блинов, и вся коммуна наполнилась свежим и горячим запахом сливочного масла. Запахи здесь разлетались как сплетни, молниеносно. Блинов перепало всем, даром, и никто не ушел обиженный. А потом Одна, мурлыча, спросила Воронику:

— Ведь теплее в комнатах стало по сравнению с первыми днями?

— Да, — ответила она.

— Это потому шо живем!

Вероника уже привыкла, ей неожиданно только дырки видеть в утреннем хлебе, его что, кто-то изнутри ест? Допустим, на варенье зарятся Одна или Марина — бог с ними, у обоих жизнь несладкая, но чтобы пекарня... Это самое малиновое варенье — бульк в дырку и растекается по тарелке кровавым пятном.

Марина жмурилась, как довольный кот:

— А мне как-то, когда я еще в школе учи-лась, перепало «тесто счастья». По-мните, тогда еще всякие «пи-сьма счастья» были? Когда надо перепи-сать и раздать. Я тогда еще в Туле жила... При-и-несла его домой в пакете, с бумажкой-инструкцией, как и что с ним делать. Мы его держа-ли сколько положено дней, перемешивали деревянной ложкой, потом испекли, по кусочку от хлеба съели и загадали желания. Вкусный был, кстати. А оставшийся хлеб надо было раздать еще четырем людям, чтобы и их желания исполни-лись. А мы раздали семнадцати.

— И как, сбылось? — недоверчиво искривила бровь Другая.

Марина покраснела:

— Как видите... да, я теперь вот в Ма-а-скве живу.

Другая не выдерживает:

— Э, дура! Вот это... — делает неопределенный жест рукой... — загадала!

*

В подъезде их дома появился новый житель. Одной посчастливилось увидеть его первой, в утренних потемках споткнуться о какую-то огромную, связанную воедино ветошь. Посветила телефоном под ноги и вскрикнула, испугавшись: на лестничной площадке лежал мужчина, закрытый до лица курткой. Под ним были разостланы старые промасленные газеты. Мужчина ее не смутил, в Ставрополе она видела и не таких, самой как-то приходилось ночевать в подъезде, когда бывший муж выгонял

из дома; но эти газеты — вот что было возмутительно. Одна достала из сумки ручку и клочок бумаги и принялась писать, потом прищипила листок к стене с помощью жвачки и успокоенно пошла дальше.

Дорогие соседи!

Проявите ответственность за свой Дом. Ведь мы цивилизованные люди! Давайте соблюдать чистоту в нашем Доме. К бездомным, которые здесь живут, это тоже относится. Спасибо.

В коммуне Одна злилась, что Марина не убирается. Вечерами она жаловалась на соседку, скрипела старой дверью Колизея, но, жалуюсь, все равно мыла за Мариной тарелки. Вороника и Другая сами видели, как Марина ела борщ на диване, закинув голые ноги на его спинку, поэтому Одной они верили. Но Марина же девочка-стрекоза, какие-то дела гнали ее дальше, оставляя от Марины полусырое полотенце и невымытые тарелки.

— Вера-а-ника, знаешь что... а напиши ты мне объявление... о знакомстве, а? В газету.

— Что требуется?

— Жалости побольше.

— С кем ты познакомиться хочешь, с сердобольной старушкой?

— С мужчиной. С жил-площадью.

— Так с мужчиной или с жилплощадью? — офицер от смеха стучит башмаками по советскому паркету и держится за пузо, порядком отросшее за счет найденных меценаток.

Сиротка,

Инт. мол. симп. барышня, с добрым и отзывчивым сердцем жел. выйти замуж за молод. симп. человека, жел. офицера. Прошу адресов. письма и фотографии: Одесса, Ольгиевская, д. 23. М. И. Силивановской.

1906 г.

Вот оно! — и придумывать ничего не нужно. В интернете ровно под офицерским объявлением и еще одним жалобливым:

Кто из девушек со средствами, безупречн. прошлым, верная, не ревнивая, согласна оказать в трудную минуту жизни своей дружбой нравственную и материальную поддержку небогат. средн. нар. и лет русск. интел., сознающ. в себе недюж. ум, чувство и священный огонек вдохновенья? За великодушие и доброту имею чем достойно отблагодар. Варшава, до востребования, предъяв. 3 руб. В. Я. 346613. Пишите побольше.

Вороника читает все объявления вслух и хохочет.

— Мариночка, не хочешь выпить? Будет тебе газета. Будет тебе объявление! Будет тебе жених!

Вороника ищет в интернете справочник всех печатных изданий Москвы, куда можно было бы разослать объявление о знакомстве. Абсурд абсурдности — искать в интернете печатное издание. Буква «О» — объявления; резко она возвращается на «М» и находит слово «мир»... что там у нас с миром?

Мир глаз, Мир зазеркалья, Мир измерений, Мир инвестиций, Мир карточек, Мир новосела, Мир подводной охоты, Мир Паустовского, Мир текстиля, Мир этикетки, Мир слепых и Мир упаковок — приложение к журналу Тара и упаковка. А в заключение — Мирь всемь.

3

ВСПЯТЬ

На стеклах вагонов, если смотреть на них изнутри, можно заметить кое-где бензиновые пятна, похожие на леопардовую шкуру. Люди, отражаясь в этих пятнах, расплываются по стеклу, как мыльные пузыри. В минуту затишья, когда не было

поездов, у Вороники возникло чувство, что случилось что-то непоправимое, что поезда пошли вспять, в обратную сторону, задом наперед. Словно их специально такими сконструировали — имеющими одинаковое начало и одинаковый конец.

Утра становились ночами, а ночи были светлее дней благодаря электричеству. Жизнь поменяла ход и шла по часовой стрелке. И не верилось, что когда-нибудь можно будет жить по-другому. Стала ли сегодня Вороника невольным свидетелем смены жизненных циклов — неясно. Но она так явственно увидела величайшую способность мира — идти; перевернуть все на своем пути, пусть идти вспять, но идти; так это ее обессилило, что, придя в коммуны ранним вечером из университета, Вороника упала на софу и сразу уснула. Ей снилась деревня, та самая, откуда она привезла душицу для московских чаев и землянику. Дом из некрашеной сосны с разбитым крыльцом. Она открыла деревянную калитку, изрытую маленькими сотами диких пчел, и пошла мимо слив, оказалась у соседей, а потом у соседей соседей и соседей соседей соседей. В этом сне не было заборов и границ и, пожалуй, если все время идти, она могла бы беспрепятственно и безвизово побывать во многих странах и городах, лежащих на евразийском континенте. А если бы океаны и моря замерзли, как случилось это в городе О., то можно было бы идти по воде и так обойти всю планету. Но на ее пути лежало кладбище. Она сразу узнала его — кладбище, где ее отец... Вокруг росли красные камыши и серебрилась ряска, на крестах висели таблички, но она боялась посмотреть на них, чтобы не увидеть там своего имени и лица. Было еще рано, слишком рано, совсем рано. Она только почувствовала, как страстно и самозабвенно будет стоять здесь, чтобы не впустить тишину и не позволить быть рядом с этой тишиной.

Проснувшись, Вороника застала все ту же ночь, но оказалось, что уже утро и пора собираться в университет. Пахло

лавром, и кто-то пел по-польски, за стеной играли на губной гармошке.

Она приготовила себе завтрак, поужинала. Все подменяло друг друга, хотелось спать, теперь уже по-ночному хотелось. Ей хотелось спросить, зачем все это? Но сил не нашлось. Теперь она уже не видела перед собой четырех стен коммуны.

*

После снегопада подуло весной и сладостью, снег растаял в минуты. Капель била с крыльца без конца, тонкий снежный настил таял, смешивался с землей. В соседней коммуне был праздник: отец вечно плачущего сына достал ему место в детском саду и теперь вот собирался вести его туда. Мальчишка стоял на табуретке и смотрел на заснеженную улицу, пока ему натягивали шапку и куртку. Когда они вышли в подъезд, мальчишка побежал по ступенькам, пнул бездомного — тот застонал во сне, но не проснулся.

Пока мальчишка бежал, наступило грандиозное событие каждого года — наступила весна, и снег стал черным. Увидев это, мальчишка разразился страшным ревом.

Отец нервно шарит по карманам, он уже готов сбежать, оставив рыдающего сына. Во внутреннем кармане куртки он находит пачку сигарет и спокойно вздыхает: «Держи, вот, смотри, какая игрушка». Сын с интересом рассматривает пачку, нюхает, лижет; отец уже спешит вперед, рассматривая проходящих мимо девиц и дыша очередной своей весной.

Марина закурила в первый раз в тринадцать лет, в шутку. Брала пример со старшего брата и курила в ванной, выдыхая в форточку. Ей уже далеко не тринадцать, ей уже дважды по тринадцать, и она все еще курит, и прячет это от своих соседок, как когда-то от родителей. В своем офисе она позволяет себе курить открыто, дымит, как теплостанция, «в Ма-а-скве все курят» — отмахивается она. Но в коммуне ей курить почему-то

совестно, она запирается в туалете, встает на крышку унитаза и курит, направляя дым в воздухопровод, а потом глушит запах дешевыми морскими бризами или цитроном. Она не подозревает, что это уже известно всем соседкам. Одна сокрушается, прячет в доме все спички и выбрасывает зажигалки Марины, а Другой плевать, она и сама курит, потому что у нее кто-то умирает за границей и надо еще как минимум пять контрактов на Бали.

Сегодня Марина долго сидит в туалете и скуривает половину пачки, а потом плачет, утираясь рукавом, — ее обманули на работе, ах, эти дурацкие отчеты, лишь бы найти крайнего! Она начинает рыдать во весь голос. Даже то, что ей звонили пять мужчин по объявлению, и все москвичи, и все с квартирами, не радует ее. Зареванная, она идет по коридору, ударяется о соседскую стиральную машинку и вздрагивает от тревожного красного света счетчиков. «Да что-о вы все кру-титесь! Что-о кру-титесь! — замахивается она на них маленьким кулаком, а потом резко останавливается. — Госпо-о-ди...» Она крестится, и слезы догадок так и застывают в глазах Марины.

*

— Вот хлупые! Все официально, как надо: сделка, доховоры, подписи. А сама, значит, так с нами? Ростовщица! И как она там подкрутила все, как так счетчики поставила, шоб все время мотали!

Одна перемешивает остывший чай.

Другая производит контрольный подсчет. И выходит, что все они платят четверную стоимость за свет.

— У кого договор на руках? — деловито спрашивает Другая.

— Он у каждой должен быть, — отвечает Вороника. Она готовит кашу «Дружба», но дружба выходит какая-то гаденькая.

— Принесите кто-нибудь, а то я свой договор на работе в сейфе храню. Как самое ценное.

1. Не оставляйте вещи в местах общего пользования (на кухне, в ванной, туалете, коридоре).

2. Места общего пользования используйте только по крайней необходимости.

«...»

10. Курить в Комнате и Квартуре запрещается. Курить можно только на лестнице.

11. Личные вещи (книги), принадлежащие Наймодателю, используются только с согласия Наймодателя и не выносятся за пределы Квартиры.

— А здесь есть книги? — удивилась Вороника.

— Одна точно есть. Инструкция от соседского «Рубина». Я ее вчера на соседской полке видела.

— Вы лазаете по его вещам? — всплеснула руками Одна, то ли восхищаясь, то ли ужасаясь.

— Нужно же знать, с кем имеешь дело.

— Это правильно, сразу надо было обчистить его. То есть прочистить. А еще нам надо было такую книху хозяйке написать!.. шоб там тоже пункты были. Не обманывай, сволочь! Не кради, сволочь! Уважай!..

— ...Ближних своих, сволочь! — улыбнулась Другая (Одна кивнула). — Такая книга уже написана. Это Библия.

— Ма-амочки! А вы пя-а-ятнадцатый пункт чи-тали?

15. Последняя квартирантка, оставшаяся в квартире, обязуется прожить в коммуналке как минимум еще полгода до того дня, как съедет сама.

Другая мрачно достала сигареты из кармана и щелкнула зажигалкой, а потом со всей силы бросила ее о стену, — да

плевала я на десятый пункт! — зажигалка разлетелась на мелкие части. Марина запустила руку под кофту, достала свои сигареты и тоже стала курить.

*

Весь воскресный день Вороника провела со знакомым студентом-юристом. Они сидели в кафе «Четверть» за круглым деревянным столом, пили горячий имбирный напиток и по строчкам, как в театре, читали договор.

В «Четверти» было темно, богемно и сумбурно, что есть синонимы: клубился сигаретный дым, молодые девушки и парни полулежали в гамаках. Под абажурами спали пьяные поэты. Много было иностранцев, кичащихся тем, что знают русскую культуру, вставляя в свою речь русский мат. Какой-нибудь местный завзятый интеллигент после пары закусок, еще пережевывая на ходу креветочные хвостики, направлялся к микрофону и начинал читать полупьяную лекцию.

Окна в «Четверти» были огромные, и все происходящее внутри казалось происходящим в большом аквариуме. Летом эти окна убирали, и кафе становилось похожим на большую открытую театральную площадку, где сидели, замерев в жеманных позах, холеные дамочки, ровно такие же, как сто лет назад. Зимой на окнах висели броские афиши: пятница — вечер такого-то поэта, суббота — выступление такой-то группы, воскресенье — презентация такой-то книги; и все в этом духе каждую неделю, никакого разнообразия.

За соседним столиком вчерашние школьники заказывали крепкие алкогольные напитки.

— ...А-а, вот какое-то название знакомое. Коктейль Молотова нам!

Они пьют коктейль Молотова — это все, что осталось от эпохи. Состав прост: водка, ром, лимон.

Старый официант усмехается:

— Кого поджигать собираетесь?

— Зажигать! — поправляют они его.

Студент-юрист все вчитывается в договор: это полный бред, полный бред...

— А что не бред? Вот это вот... не бред?

— Ты про «Четверть»?

— Я про нее и про всех нас. Знаешь, почему я согласилась посидеть здесь? Тут хороший имбирный напиток, больше ничего. За что я люблю «Четверть», так это за надежду, что через *четверть* века это все закончится.

— Имбирный напиток можно сделать самим.

— Я попробую. Он хотя бы делается по рецепту в отличие от...

Тем же вечером Вороника записывает в коммуне: «Два лимона, мякоть, добавить в горячую воду, когда закипит — тертый на мелкой терке имбирь, ложку меда. Выключить. Дать настояться. Процедить и снова вскипятить».

Входная дверь с грохотом открывается и хлопает, по коридору стучат каблуки. Вороника выглядывает из своей комнаты и успевает увидеть закрывающуюся дверь Другой. Из Колизея выныривают Одна с Мариной, обе перепуганные. Что случилось? Что с ней? Перешептываются.

— Наверное, умер...

Весь вечер и всю ночь Другая сидит в своей комнате, не выходя. На следующий день к обеду она идет на кухню и долго курит, глядя в окно. Ее черные глаза жирно подведены карандашом, чтобы припухлость была не так заметна. Теперь ее взгляд стал египетским, страшным.

— Вот имбирный напиток, он согревает, — неловко подходит Вороника.

Другая берет и выпивает его залпом, а потом улыбается:

— Спасибо. Ну, когда бунт против хозяйки будем поднимать?

ЩАСТЬЕ

«Самоизгнанник? — спрашивала Вороника у Сангина. — А он самоизгнанник, Эрзя?» Сангин молчал. «Знаете, я проходила мимо этого дома, какая-то Песчаная, 26, ведь ничто сейчас не говорит о том, что там жил великий скульптор. Даже мемориальной доски нет». — «Она есть». — «Как, где?» — «Человек не может не оставить от себя памяти. Человек всюду ставит себе мемориальные доски». — «Я же про настоящие...» — «И настоящая есть. Когда-то будет. А насчет счетчиков вам следует связаться с хозяйкой, да и договор местами темный. Надо было с юристами советоваться».

Вороника, глядя на Калипсо, даже не услышала, как открыли входную дверь. Потом началось что-то очень синее по звуку, звонкое, страшное. Кто-то что-то разбивал, а потом все вдруг стихло. Эту тишину Вороника услышала и очнулась, открыла дверь, на пороге чуть ли не столкнулась с Одной, замершей в желании постучаться. Одна приложила палец к губам и зашептала:

— Он здесь, приехал!

— Кто здесь? — не поняла Вороника.

— Сосед, сосед. Приехал. И разбил счетчики!

В то же мгновение Вороника увидела на полу черные осколки и красные мигающие лампочки, катушки все еще крутились в железной агонии.

— Где он?

— В своей комнате. Молодой, не старый, вот что удивительно.

— Так чего же удивительного?

— Да он, выходит дело, чуть ли не ровесник «Рубину», если не младше.

Весь вечер они ждали, что сосед выйдет, они хотели спросить его о странном погроме счетчиков и о пункте № 15, может,

чего знает. Но, так и не дождавшись его, они разошлись по комнатам. Ближе к полуночи открылась и захлопнулась входная дверь. «Ушел, — подумала Одна, — ушел, как будто обидевшись. Станный. Мы-то ему шо? Мы всего лишь квартиранты. С нас берут четверную оплату, у нас ксерят паспорта и ставят на учет. Да, мы старались не смотреть в его зеркало, не сидеть на его стульях на кухне, но от этохо было сложно отказаться».

Вороника тоже думала о нем, все ходила мимо комнаты, ища какого-нибудь тайного послания. Ведь зачем-то, ведь зачем-то он приходил. И ей было странно — замечать, как она горячится за незнакомого человека.

Вечером за чаем Марина, которая пропустила приход соседа, оживленно рассказывала:

— А я, ка-жется, скоро могу выйти замуж.

— Когда кажется, креститься надо, — сухо заметила Другая.

Теперь она ярче подвела глаза.

Марина живо перекрестилась и постучала по столу:

— Чтоб уж не сгла-зить! Вороника, спа-а-сибо тебе большое за объявление, нашла, вы представляете, нашла его!

— Кохо? — удивилась Одна.

— Того, благодаря кому я отсюда съеду.

— А я тоже ненадолго останусь здесь, — добавила Другая.

— А у меня через полхода сынка из армии придет...

Вода закипает, и со дна поднимаются белые звездочки. Голубой огонь лежит на конфорке плашмя, как медуза. Каждая ждет кипятка: Одна — для мялиссы, Другая — для ромашки, Марина — для фруктового чая, Вороника — для зеленого, хотя ей все равно, что пить; каждая ждет чуда, маленького, но своего.

*

Другая стоит в вагоне покачиваясь, глаза ее закрыты и всем кажется, что она дремлет, но Другая не дремлет, думает: как ей теперь жить? После смерти бывшего мужа, что семь лет уже

как бывший и пять лет как в немецкой клинике лежал. Да-да, и пять лет, как она оплачивала ему лечение, потому что нет больше у него никого. После его смерти она почувствовала освобождение, теперь сама может улететь на Канары, и уж это никто не проведет — она знает, какой отель выбрать, какие авиалинии, какие крылья... Первым делом, конечно, надо вернуться в свою квартиру на Садовом кольце и просто жить для себя. «Ах ты, черт, поаккуратнее!» — кричит она какой-то дамочке, что наступила ей на ногу. Это существо в кудряшках, в шубке, с размалеванным личиком — несется к освободившемуся месту.

Вороника два часа смотрит и слушает концерт, который ведет Святослав Бэлза. Тот все пытается быть остроумным, шутит, вспоминает истории об Оскаре Уайльде, сказавшем на границе, что ничего, кроме его таланта, декларировать не нужно. И Воронике вспоминается, как она контрабандой перевозила через границу картину, как таможенники благосклонно посмотрели на нее, Воронику, и пошли дальше, прося у кого-то открыть сумку. Сейчас она осмелилась бы перевезти через границу и город К., и город Т., и город О.

— ...Есть люди с недоразвитой душой, — продолжает Бэлза, — в наше время такие страдают сердечной недостаточностью.

Он говорит в сиянии софитов, в идеально выглаженном костюме, а на запястьях его рук, никогда не знавших труда, вспыхивают драгоценные запонки. Воронике вспоминается: полгода назад она подходит к Бэлзе и просит его о комментарии какого-то концерта, а он, позевывая, разводит руки в стороны: «Девочки, мое время закончилось!» И, пожалуй, да, — понимает сейчас Вороника, — его время закончилось. Теперь он ходит и читает в творческих институтах о своей жизни. Теперь все, кому не лень, ходят и читают. А те, кому лень, пишут книжки. Ему доставляют удовольствие приглашения выступить

в заведениях наподобие «Четверти», ему нравится им отказываться, говоря: «О, нет, ребята, я выступаю только на самых высоких площадках, народных».

Во втором отделении концерта на сцене у ведущего появляется спутница, в которой Вороника узнала бы то хищное существо, которое Другая видела в метро. Спутница ведущего тоже считает, что его время закончилось, и вот в этот самый вечер наступил ее звездный час — павлиной она выходит на сцену, раскачивает бедрами и становится полубоком, чтобы виден был глубокий вырез на спине. В зале, не скрывая, хохочут. Девушка в кринолине — окрестил ее Бэлза. Та, стоя за кулисами во время номеров, сияла, как запонка, надеялась на ангажемент.

После концерта все поспешили к своим авто и к метро, весенний мороз разгорался не на шутку. В ближайшем подземном переходе сидела старушка, с пунцовыми щеками под цвет повязанного на голове павловского платка, и играла на гармонике легко узнаваемый старинный русский мотив. Она иногда хромала по нотам, потому что пальцы задеревенели от холода, но так лихо и живо это было, и такая настоящая улыбка звенела на ее лице. Строгие женщины и мужчины, еще пять минут назад слушавшие виртуозов классической музыки, летели мимо старушки.

Одна в это время возвращалась с работы и обнаружила, что на лестничной площадке каждого этажа висят одинаковые объявления, отпечатанные на компьютере:

Уважаемые жильцы!

В подъезде состоится собрание. Хотелось бы решить все волнующие жильцов вопросы цивилизованным образом, а не написанием непонятных записок. Всех, кому небезразлично, что происходит в нашем доме (бездомных это тоже касается), просьба сопредусловить на собрании.

Это послание произвело на Одну такое впечатление, что она тут же достала жевательную резинку и припасенный блокнот и написала на листке: «Когда и где собрание?»

Придя в коммуны и застав ее пустой, Одна быстро приняла душ, пока не было соседок, и поняла, как недальновидна она оказалась: в их доме пять этажей, а значит, собственную записку надо было продублировать на каждом. Одна накинула пальто и с голыми ногами, прямо в тапочках, прямо с полотенцем на голове выбежала в подъезд. Этим вечером ей не ответили, она тщетно выходила проверять. Только на следующее утро около ее листочка на первом этаже, прямо на стене, появилась приписка чьей-то корявой рукой:

В подвале. Приходи. Не забудь пива.

Уважаемый сосед/соседка!

Я, конечно, не напрашиваюсь на чай, не подумайте так. Хотя это было бы совсем неплохо. Все-таки стоять и совещаться в подвале, где так же холодно, как на улице, будет не совсем продуктивно. Спасибо.

Но ответа не последовало ни на следующий день, ни через два, ни через год, никогда. Разве что когда-нибудь вы сами захотите написать послание Одной, тогда я скажу вам адрес. Одна зареклась ничего не писать нигде, никому. Кроме своей подписи в договорах кредита. Отказать подписи она не могла, на ней висел кредит на ставропольскую квартиру.

*

А собрание все же состоялось. Об этом из их коммуны узнала только Вороника. Одним субботним утром, когда Марина и Другая решили, что это их последнее субботнее утро в коммуны, в комнату к Воронике постучала Одна.

— А у нас теперь Тесто Щастья есть! — ликовала она. —
Пойдем скорее, мы будем из него булочки делать.

На кухне, крошечной и неудобной, стояла большая кастрюля,
доверху наполненная тестом — казалось, живым, дышащим,
растущим.

Другая хозяйственно мазала противень маслом:

— Лепите же скорее, духовка разогрета.

И они все вместе, не сговариваясь, стали делать маленькие
круглые булочки, много, очень много. Одна партия булочек
отправлялась в духовку, другая обсыпалась сахарной пудрой.

— А откуда оно у вас, Тесто Счастья? — смеялась Вороника.

— Мы сам-ми его сде-лали. Ска-а-зали: Тесто Счастья,
и все тут!

Вся сталинская кухня была в этих булочках, они лежали
на столе, на соседских стульях, на соседских полках — никого
больше не смущало пресловутое вето «не дотрагиваться». Дру-
гая еще захотела для полного счастья закурить, но огляделась
по сторонам и не стала.

Вечером, когда Вороника выходила на улицу, в подъезде ей
встретилась разъяренная толпа, которая при ее приближении
умолкла, как бы принимая новую кровь.

— ...Это ваша Танька фломастерами на дверях пишет.
И дружков своих водит, а они лампочки разбивают. А если
я полицию вызову?

— Да что лампочки, вы мне скажите, кто окно разбил?!

— Граждане, давайте подумаем, что с бомжами делать бу-
дем? У них нет дома — пусть живут на улице!

Она не сразу поняла, что происходит, громко и радостно
поздоровалась со всеми и поскакала по ступенькам, а потом
остановилась.

— Я сейчас... секундочку... подождите.

Вороника вернулась из коммуны с большим подносом бу-
лочек.

Шел мелкий бисерный дождь. Такая погода сейчас в Сочи, сказал кто-то из прохожих, видимо, находясь сразу в двух городах. Вороника смотрела на него, как он шагал по Кадашевской набережной, и видела его близ Дендрария, лет десять назад, в своем детстве. И ей нравилась такая сочинская Москва, декабрьская, теплая. Оказалось, что можно смеяться до боли в горле, цитировать с друзьями поэму, увидев вывеску «Онегинь», прыгать через грязные лужи, которыми наполнены до отказа маленькие московские переулки. В этих переулках тихо и безлюдно, чего не допросишься от Москвы, и потому так сладко брести по их искривляющимся линиям, останавливаться на поворотах, освещенных фонарями. И хотелось бежать, оказываться во дворах, в подворотнях, в дверных проемах — дальше некуда. Заглядывать в чужие окна, стучаться в чужие двери. Приютите!

Храм Христа Спасителя стоял как из серебра, и вода в Москве-реке, темная и густая, чеканила серебряными же полосами его отражение. Нам жить на этих набережных. А еще на Песчаной улице, вот увидите, обязательно будет мемориальная доска скульптору Степану Эрзе. А в вагонах метро нам опять схлестываться с невольными попутчиками взглядами и говорить глазами всем, всем: «Скоро, скоро!»

*

В выходной декабрьский день, выспавшись до обеда, Вороника поехала вниз по течению серой ветки, к центру. На Полянке она смешалась с толпой, которая шла, двигалась, как огромная вышедшая из берегов река. Ее, как щепку в мутном потоке, донесло до набережной, где две реки — черная человеческая, с цветными вкраплениями флагов, и серо-зеленая Москвы-реки — были рядом, близко-близко. Добравшись до чугунной ограды, Вороника увидела Якиманку во всей своей панораме и Каменный мост, устало согнутый над Москвой-рекой

с плавающими по ней утками. Эти утки в сравнении с пространствами казались крошечными, пустяковыми утками, но как беззаботно и красиво резали они мутную гладь; это было грандиознее всего.

А так — болото, сущее болото. Над площадью летали не вороны, а патрулирующие вертолеты. Вороника закрыла глаза и увидела: погода здесь веками неизменна, как и туман над Якиманкой. Она видела всех, кого здесь казнили когда-то. И видит всех, кто теперь поднимает здесь маленькое восстание.

Красные дьявольские флаги, желтые — разлуки, черные — смерти.

Территория огорожена железными скобами, по одному полю с собакой на каждый разъем. Овчарки сидят, насупившись, ожидают. И вот проходит мимо женщина, а в руке у нее сумка, а в сумке крошка шпиц на розовом поводке. Она выпускает собачку на асфальт, и овчарки, как динамитные, разрывают воздух своим лаем. Она тащит шпица за поводок и кричит: «Снимайте скорее!» Из кустов выпрыгивают телевизионщики с камерами, как с автоматами, наготове. Овчарки грозны, овчарки хотят порвать, а у телевизионщиков готовы отличные кадры устрашающего ролика.

Пожилая женщина, идущая около ограды, улыбается Воронике: «Ну что же вы, девушка, не стойте на ветру, отойдите же в сторону, холодно здесь». И Вороника понимает, что для начала надо лишь отойти в сторону, отойти, отбежать, уехать.

ПОСЛЕСЛОВИЕ САНГИНА

Мне не составило особого труда отыскать ту коммуналку, где жила моя пропавшая студентка. Но из всех четырех женщин в ней осталась лишь одна, как сказала бы Вороника, Одна; остальные съехали, их комнаты заполнили другие люди, это был целый конвейер жильцов.

Одна пригласила меня выпить по чашке чая на ту самую кухню, и я увидел крошечный квадрат пола, где и вдвоем-то стоять тесно. Из окна — унылый вид, как выцветшая шпалера. На плите — ковшик с подгоревшей кашей. Вот как живут некоторые самоизгнанники.

Марина и Другая съехали отсюда, вскоре и Вороника. И смутная радость охватила меня: бейся головой о все площади мира, но этим ты ничего не добьешься! «А шо я, мне кредит выплачивать, как раз полхода еще жить хде-то надо, — говорила мне Одна, — не ищите ее, она сама о себе объявит». И я, не сомневаясь, ушел.

ДАРЫ И МОЩИ

Рассказ

Русский рок ревет на Чистых прудах из динамиков, сама станция перекрыта, и Московский императорский почтампт в лесах. Третий день и третью ночь, как с Афона привезли дары волхвов — это будоражит меня. Мы идем вдоль замерзших прудов, как еще недавно я гуляла здесь с кем-то другим; неожиданно откуда-то запах Casamonti, которые уже не продают в Москве, но я все равно ни с чем их не спутаю. В прошлую зиму в магазине парфюма нечаянно разлила целый флакон — девять моих стипендий.

— И откуда теперь брать денег?

«Теперь» — что тогда, что сейчас — год не опрокинул. Мы обе писали стихи, и обе понимали, что сейчас на стихатах далеко не уедешь... Нет, даже не так: *уезжать* нам вовсе не хотелось, нам хотелось всего лишь выжить. Мы обе приехали из одной поволжской республики — учиться, и тогда еще не знали, что это «учиться» значит жить, работать, любить и даже хоронить.

— А как насчет выступать, попробуем? — продолжала Катя.

— По кабакам?.. Это мы сейчас туда направляемся?

— Увидишь.

— Меня раздражает такая неопределенность.

— Что тебя еще раздражает?

— Объявления, которые приходят на почту. Что-то в духе: новые опросы про жилье, ипотеку, РПЦ, обманутых дольщиков. Будь в курсе общественных настроений! Ура, товарищи.

— Что еще?

— Могу сказать, что будоражит мою фантазию. Двадцатитысячная очередь в храм.

— А-а, дары... Наши русские девочки еще не танцуют на Афоне?

— Нет. Там не только нельзя танцевать, там и быть нельзя — женщинам. Хотя я слышала, что какая-то пара приехала и занялась там любовью.

— И что думаешь про это?

— Что думаю... Мне всегда казалось, что любовь — это способность пойти на любое богохульство.

— Казалось?

— Да, — и после затянувшегося молчания: — А тебя что раздражает, Катя?

— Парные знаки препинания, их обязательность.

— О, точно — кавычки!.. Все эти французские елочки и немецкие лапки... А смысл у всех один: поставил что-то в кавычки — и то, что внутри, вроде как уже и несерьезно.

Она подводит меня к резной парадной двери, к застекленной стене, сквозь которую виден интерьер — абажуры, буржуйки.

— Куда это ты меня привела?

— В прошлый век. Тут поэты по субботам читаются.

И мне становится тошно: буржуи делают деньги на дедушкиных буржуйках. И я, кажется, понимаю, что заставляет танцевать в храмах и ездить на Афон.

*

В ресторации мы, как и все, пьем белое и черное мускатное вино за столько-то целковых. Свечи вправлены в бутылки, оплавлены, залиты парафиновыми слезами; бледненькие кельнерши в черных кружевных фартуках; тяжелый сигаретный дым; черно-белая немая жизнь на экранах — столетней давности. Поэтов не видно.

Все столики в столь поздний час заняты, и к нам без разрешения подсаживается какой-то тип: «Не могу иначе — жду

человека, пожалуйста, девчонки, дайте посидеть немного». И понеслось — рассказывает о здешних вечерах, угощает вареньем из вишни и сушками с маком. По его заказу нам все несут с кухни угощения, ставят на стол дымящийся самовар. А потом... я не могу после начищенных туалетов буржуазной ресторации смотреть в глаза неприкаянному старику в метровагоне, играющему на тяжелой напереверес гармонике. У него раздолбанная хромка в руках, а там в туалетах золоченые ручки и кафель расписан гжелью. И кто-нибудь пьяный и ошалевший будет промахиваться и мочиться на русские узоры.

«Это хамон — испанское мясо. Александр Батькович, садитесь с нами. Девчонки, какая у вас на сегодня программа? Идете молиться к Божьей матери? Там приехали какие-то паломники... Вы сами-то православные или предпочитаете танцевать?»

«Православные».

«Сегодня же идет в этом... ну, как его... ха-ха-эс... до десяти... надо успеть и пойти — прикоснуться, отдать, так сказать, честь. Жорж, в храме, что там идет? Очередь большая... Он не знает, он не православный».

«Дары волхвов». — «Дары вол...ков?» — «Волхвов». — «Что такое вол-хвы? Знаете?» — «Ну, как сказать... Прорицатели, гадатели».

«Вот и я тоже не знаю, кто это. Шарлатаны какие-то. У меня просто друг начальник службы безопасности там, нас пропустят сразу. Надо же, по девять часов очереди, и мне самому интересно — че люди стоят? Надо сходить, посмотреть. Не хотите нам составить компанию? Такая тусовка вместо дискотеки. В торговый центр храма зайдём. Там же можно крестики покупать без налога с оборота. Там мойка есть, машину хоть помою. Представляете, он так и называется: торговый центр имени Христа Спасителя! Ну, не кури, не модно и цвет лица, морщинки. Не кури, это сейчас очень плохой тон. Тот православный,

который кавказской национальности... православный, но перекрашенный, он говорит, что вкус продуктов меняется, если куришь».

Катя чуть не поперхнулась сигаретой.

«Я мало курю, поэтому у меня все хорошо». — «Ты всегда курила?» — «Нет, как в Москву переехала». — «С какого возраста?» — «С семнадцати».

«Москва научила? Москва всегда... Ну, мы эту Москву... Девчонки, давайте ликвидируем сейчас же: баранки вот остались, бросай сигарету. Ты когда не курила, тебе было приятно сидеть за одним столом с мужчинами и девушками, которые курят? Я так нагло подсел и еще начинаю свои правила».

«Я уважаю чужой выбор, так что если курит — пусть».

«Я тоже уважаю чужое мнение, но если человек курит, я стараюсь сделать так, чтобы ему было некомфортно. Ты сидишь, допустим... кстати, мне не пахнет здесь, тут вытяжка хорошая. Представляешь, ты сидишь — кушаешь или разговариваешь, а на тебя дым. Или вот... говорят, у немцев принято, но это брехня, это нигде не принято... Ну, да ладно. Так что давай... В нашу Москву не берем курящих. У нас новый президент будет. Знаешь, кого возьмем?»

«Кого?» — не без интереса спрашиваю я. — «Отгадай с первого раза». — «Вас?» — «Нет, Навального возьмем. А ты кого бы взяла?» — «Пока не вижу достойных кандидатур». — «Ну, себя, допустим?» — «Нет. В детстве хотела стать, но давно передумала». — «Почему?» — «Потому что президент живет в настоящем мире: собственные резиденции, самолеты. Катаешься по городам, которые в считанные дни до твоего приезда преображают. Наспех, тяп-ляп. Кладут плитку и асфальт, неподобающее скрывают заборами». — «Это мы знаем. Но это не в городах, а в деревнях». — «Ага, в потемкинских». — «Так вас все устраивает? А мы хотим президента посадить». — «Посадить: расти большой, не будь лапшой!» — «Мы, говорю, посадим». — «Кто мы?» — «Вот Саня...

Группа тут у нас вечерами собирается, пока ваши поэты читаются. Закончила подружка твоя курить. Ну как, ты с нами? Кого в президенты берешь?» — «Не вижу...» — «Достойной кандидатуры!» — «Навального возьмем». — «Навальный — фашист». — «Сразу видно, что газет не читаешь. Это все телевизионная пропаганда. Никогда он не был фашистом. Он националист». — «Я, к сожалению, с ним знакома». — «И что, он фашист?»

Кивок.

«Я с ним не знаком лично, но думаю, что ты что-то путаешь. Почему ты его называешь фашистом, может, он с женщинами как-то грубо себя ведет?» — «Нет». — «Может, он мазохист? Садо-мазо? Может, ты перепутала фашизм и садо-мазо? Нет? Я к тебе буду придираюсь. За то, что курила. Давайте, девчонки, это самое... Может, по чаю?» — «Нет, спасибо». — «Тогда покрепче чего? Или мы за здоровый образ жизни? Сейчас тогда на каток пойдем кататься. Или сначала помолимся, а потом на каток пойдем? Или на каток сначала? Там до сколько? Александр Баткович, до сколько сегодня храм работает? До десяти вроде? Хотят круглосуточно, но пока не выходит. С баранками сладкими попробуйте! Давайте чайку налью».

И уходит за самоваром.

«Хватит приставать к девочкам, они клиентки!»

«Они для клиентов? Ваши, что ли, девочки? Я хотел их вареньем угостить».

«А какое отношение вы имеете к этому ресторану и поэтическим чтениям?»

«Никакого. Жорж, или, по-ихнему, Георги, он мою сестру соблазнил, она забеременела. И я хожу теперь, его данью обкладываю. А вот и сам хозяин сейчас прошел... Вон тот нерусский, лицо кавказской национальности. Александр Баткович, и ты тоже иди к нам! Не идет. Он очень строгий. Только с мальчишками общается. Так, расскажи про Навального, как вы познакомились? Он тебя тоже обманул, как Жорж мою сестру?»

«Я замужем».

«И я замужем, верно, Кать?»

«Если б я был женщиной... И познакомился с Навальным... Я б согрешил! Ой... А с сушками ничего так, попробуйте. А что, правда — замужем? Такие молодые!»

«Да, замужем. Мы в один год расписались».

«А я женат, вот какое совпадение. Я на неделю отпустил свою отдохнуть, отметить».

«Хорошо встретили?»

«Хорошо. А вы как с Навальным?»

«Нет, мы не вместе. Здесь точно сегодня будут поэтические чтения?»

«Да, я буду читать. Сначала должен напиться и вас напоить. Хотя бы чаем. Есть легкие наркотики и место для чтения книг. Девчонки, давайте налетайте на хамон. Пойду самовар подогрею».

«Кать, чтений не будет. Что нам делать, как отделаться от него?»

Не успеваем придумать — возвращается.

«Вы недавно замужем, молоденькие совсем. По сколько? По двадцать три-четыре?» — «Один». — «Как вы так рано — такие молодые и замужем?» — «Хороших парней мало, надо скорее разбирать». — «Детей нет пока?» — «Нет». — «Надо стараться. Не получается — может, помочь? Так, девочки, вы не подслушивайте, пожалуйста, вы на рабочем месте. О, свечки — это хорошо. Интим подкрадывается незаметно. Ты им в чай что-нибудь подлила, как я просил? Сознался, что промышляю! Вы заметили, что я всегда за чаем сам хожу? Теперь вам станет весело». — «Нам и так не грустно». — «Еще хорошее будет. Домой не захочется». — «Нет, у нас очень строгие мужья. Рассчитайте нас». — «Что так рано уходите?» — «У нас завтра экзамены». — «Ну вот, я вас на другой экзамен хотел пригласить, на кастинг».

Когда мы одевались у большого зеркала, дверь ресторации открылась, и на костылях с колесиками въехала маленькая немощная старушка. По ее глазам я поняла, что это девочка-подросток. Она, еле расставляя костыли, заковыляла к брошенному нами столику, где еще сидел и пыхтел подле самовара наш случившийся собеседник.

«Как думаешь — кто?»

«Дочь. Ну что, по домам — к своим воображаемым мужьям?»

«Пока да. Мне завтра лететь, надо лечь спать пораньше».

«К Кате?» — хитро посмотрев в мою сторону, спросила Катя.

«К Кате».

*

...И здесь такой же неровный, как и везде, асфальт, и так же дымят городские трубы. И здесь тоже попрошайки — ходят прямо по забегаловкам, где бургеры средней руки едят чизкейки и пьют сладкий-сладкий кофе с десятисантиметровой молочной пенкой. И в каждой такой забегаловке около уборной сидит негритенок и кричит посетителям «хале!» — и сует бумажное полотенце, и влажным взглядом просит за это чаевые. Катя боится этих негритят — отнимут последнее, — поэтому по общественным уборным она не ходит. Стихов по кабакам не читает, ежедневно от родителей имея перечисления на банковскую карточку.

...На улицах, в запертых стеклянных витринах, архангелы разводят руки в благословении над бутылками с водкой Smirnoff. Там есть люди с красивыми янтарными глазами. Там бесшумные трамваи подрезают этих людей.

Там за месяц до ежегодного карнавала начинают готовиться к мистерии и напяливают вытасченный из сундука костюм какого-нибудь героя, волшебника — ходят так на работу и по улицам, в чужой шкуре.

И среди этого всего Дом выглядит цитаделью из мокрого речного песка, но он — настоящий, а что вокруг — наносное,

выстроенное наспех в сравнении с сотнями лет. Так сложилось, что одна из частей Дом'а всегда в лесах, каждый раз — разная.

«Расскажи о Дом'е... Как ты тут живешь?» — прошу я Катю.

«Недавно девицы отплясывали тут. Добрались и сюда».

«Русские снова?»

«Нет, теперь украинки. А ты знаешь, что тут хранятся мощи волхвов?»

«Тех самых, чьи дары привозили в Москву?»

«Их-их, хотя кто знает, чьи это кости. Когда большевики вскрывали мощи, то много ватки и воска нашли. Вот так вот. А тебе надо показать настоящую здешнюю жизнь!» — и ведет меня на злачную улицу в бар с затасканным названием Paradise. Фейсконтроль — нордический юнец в лохматой шубе — говорит, что нас пустят, но надо ждать. Стоим у ворот и ждем, стоим наживкой, будто зазывая еще кого-нибудь вовнутрь. Подходят гогочущие поляки, но им отказывают — не так одеты. И нам все не отворяют. «Пойдем в другое место», — расстроившись, говорит Катя.

«Смотри, мне мерещится, что ли?» — показываю ей на вывеску другого бара. Там красные зубчики Кремлевской стены и куранты, там пьют «Балтику», но на русском — ни слова. Мы стоим и решаем, идти ли к ним. «Девчонки! — вдруг кто-то на русском, услышав нашу речь, — это судьба! Давайте познакомимся!» — «Если судьба, — отвечаю я, не глядя, — то познакомимся, когда вернемся».

После полуночи все стекаются на подземную остановку к Дом'у — рыцарь войны, милый мальчишка-фашист (или ты перепутала фашизм и садо-мазо), похожий своим ирокезом на птенца, и — вот это да, — те самые поляки, которых не пустили в рай. Я улыбаюсь им, как светофор, будто мы сроднились за те пару минут у ворот, Катю радостно толкаю локтем: «Смотри, это же те самые!..» Поляки замечают нас и один другому, гогоча: «Зобачь, те две курвы!»

«Что они сказали про нас, мне слышалось?»

«Нет, не слышалось. Пойдем отсюда».

Слышались крики.

Срывали покровы и облачения, а там вата, вата, вата.

С невест срывали их покровы — а там кости, кости, кости.

И где бы я ни была, ночами мне всегда снятся кошмары, а в них всегда одна и та же страна и один и тот же человек.

*

— Катя, — говорю, — давай в наш, православный, заедем?

— Эй, ты чего надумала?

— Как чего, — не понимаю, — помолиться.

— А, ну раз помолиться, то поехали.

И мы мчимся на экспрессе в пригород, чтобы найти храм РПЦ — желтые домики без куполов — закрытым: работает в некоторые дни и по часам, как музей. Из домика охранника лениво выходит женщина, спрашивает на чистом русском: «У вас проблемы?» «Нет, у нас все хорошо», — отвечаем ей, и она уходит в свою будку мазать на хлеб масло, читать газеты.

Катя пытается привить мне их образ жизни, потому мы покупаем испанский — хотя немецкий гораздо дешевле — хамон, французский сыр с прованскими травами, на утро — мюсли премиум-класса, в два раза дороже и в два раза меньше обычных, испанские томаты, моцареллу и сок прямого отжима. Итого: целое состояние. Мне вспоминаются голодные московские времена, когда я бегала по городу в поисках дешевой свердловской булочки. И в музее шоколада: шоколад такой-сякой, синий, зеленый, в крапинку... и фонтан из шоколада, а на фоне Катины рассуждения: «Если я не куплю шоколад и куплю билет на самый дешевый самолет обратно, то сэкономлю и куплю те голубые шортики из шелка. Это пятнадцать евро. А это один день жития».

Она примеряет эти шортики, а еще платье из черного кружева — ее мальчику должно понравиться. «А если не купить

билет обратно, — думаю, — то можно купить десять шортиков. И женихи, будто для того и нужны: ездить с ними в Амстердам и стоять перед алтарем в платье из кадомского вениза. Почему все так?» Она покупает то шелковое белье, как я когда-то покупала шелковую сорочку, — так и лежит ненадеванная, потому что не стоять мне у алтаря. Аритмия. И везде по городу на вывесках два козьих рога Дом'а — кардиограмма неверного сердцебиения.

Катя уехала на ночь к своему мальчику, который уже давно дяденька, а я осталась в ее общежитии наедине с бутылкой белого вина, сыром и засохшей булочкой — целое состояние за столько-то евро. С двадцать второго этажа мне открывается вид на Хиросиму Нагасаки — там зелено и весело, в парке смеются дети, скачут и прыгают, и мне тоже иногда хочется прыгнуть.

*

Только она вернулась утром, как заверещала пожарная сигнализация и назойливо не смолкала несколько минут. Мы молча завтракали, обе голодные и обессиленные: я — долгим сном, она — бессонной ночью. Постучала соседка и сказала, что пожар — надо уходить. У лифтов она остановила нас, и мы пошли спускаться по лестнице двадцать два этажа — непрерывные топ-топ-топ десятков студенческих ног, а около общежития уже восемь пожарных машин. Гори у нас атомный завод, столько не приедет. Оказалось, что на плите подгорел рис с брокколи и горошком.

Тем же вечером она снова не осталась ночевать. Показала мне на трамвай: «Вон на той линии пойдет и твой, до Вайден Вест». Потом забежала в киоск, схватила у продавца один круассан за пол-евро и сунула его мне: «А это твой завтрак!» И мне садиться в поезд, ехать до Вайден Вест, идти к высотке общежития, где все двери открываются одним ключом, но каждый думает, что у него свой особенный. А внизу парк Хиросима-Нагасаки, и там

все вроде хорошо, там люди не становятся паром от взрыва бомбы, там они не остаются силуэтами на заборах.

Я хожу вечерами и заглядываю в окна их домов, пытаюсь узнать, чем они дышат. Внутри домов все чинно до стерильности: накрытые белыми скатертями обеденные столы, ждут своего часа свечи. Я представляю, как мы там ужинаем, а после — занимаемся любовью на таких же белых простынях. Интересно, как они это делают? Это мое увлечение последнего года — представлять, как бы мы жили в разных местах.

Катя уговаривает меня купить себе короткое пальто цвета фельдграу. И в мыслях своих — от штрассе до штрассе — представляю, как ты срываешь с меня этот серый китель, и никакой Apfelschorle, яблочная вода, не охладит моей несбыточной страсти к тебе.

«Посмотри, как он на меня смотрит! — просит Катя в ирландском пабе. — А после скажешь, что он считает обо мне». И вот он — в накрахмаленной, как сказали бы, рубашке, стройный и староватый. За столом в кружок его приятели с пенящимися кружками. Что он говорит им — не разберешь, обнимает Катю и за ее спиной делает неприличный жест — весь паб хочется. И как это происходит, не понимаю, я беру стакан со стола, доверху наполненный прозрачным, и до дна. «О, вот это русские! Я эту горечь осилить не мог!» — восклицает он на английском. «Еще бы... Нам же, забытым русским крестьянам, не привыкать осиливать».

*

Мне пришлось набраться смелости, чтобы в один из дней поехать на кладбище. В Средневековье там жгли ведьм, в другое время стоял лепрозорий, а сейчас вычищенные дорожки и имперские памятники. Вечный покой там длится двадцать пять лет, и если потомки погребенных не продлевают контракт, то в могилу хоронят другого человека, а памятник измельчают

в щебенку для дорожек. Иду меж безликих мраморных изваяний — и вдруг фотография: наш, русский. Поэт. Лежит в чужой стране, в чужой могиле. А я не хочу! Не хочу, чтобы так с безызвестно пропавшим мальчиком-однолеткой (вспыхнул и сгинул), поехавшим учиться сюда. В аэропорту, просвечивая насквозь, меня спросили на английском: «Что это за ерунда?» — показали на золотой винтик в кармашке сумки. На каком языке нужно было объяснить им, что это единственное, что у меня осталось от него — его случайный подарок.

*

Бездомный художник нарисовал на площади рядом с Дом'ом картину, наутро дождь все смыл: остался Дом и синяя краска, как чернила осьминога, между плитами. А если и люди со следующим дождем исчезнут, что останется?

Одна из башен Дом'а, куда мы, разных кровей и национальностей, по винтовой лестнице поднимались с великим трудом. А вверху холодно, город игрушечный, отстроенный сызнова после войны. Я глажу горгулий — тех, что загнездились на стенах и что попадали с них. Как же им, должно быть, не хватает нежности. Стены внутри башни до черноты исписаны признаниями в любви и собственными именами. И я не знаю — верить ли им, что они сейчас признаются и именуется? Мои электронные часы сбились и упорно показывают, что сейчас 1 января 1969 года. В этом году родится его отец. Через три года — мама. А потом у них родится сын и будет жить двадцать один год наверняка. Целых двадцать один!

«Я люблю тебя» — кричат все кругом, и я им всем верю — иероглифам и буквицам всех мастей.

ВОЛОСЫ ВОРОНИКИ

Рассказ

Хоть крохотку какую, в одно слово топоним — он хотел бы каким-нибудь будним днем получить от нее письмо, — и он сразу все поймет. Но Сангин почему-то уверен, что там, где она, нет вселенской сети, туда еще не проложено оптоволокно и что беломорского рыбака — вот единственная сеть в округе; холодное взморье, тишина — беловодье.

А в парке Горького есть пуэропорт, чайная, там продают пирожки, среди прочих — с вороникой; чтобы разочароваться их чаем, в какой-нибудь из выходных он, вместе с внуками, причалит.

*

Был четвертый месяц, как она в Москве, — первый курс журфака. Декабрьским днем это было; никаких объявлений и предупреждений, никакой рекламы. Они шли на пару по политологии, а пришли на войну.

Кремль, синяя елка. И белый Манеж — при царе для конной выездки и военной муштры, а при нас — для экспозиций и выставок меховых салонов. На всей Манежной площади, под открытым небом, то ли для народной муштровки, то ли для показательной экспозиции — тьма людей. К толпе уже прибочинился микроавтобус с тарелкой на макушке — передавать новости спутнику на орбиту.

«Ом, Ом» — повторяла Вороника как мантру, созерцая ряды омона по Моховой и к университету — не пройти, столпились.

А ведь она опаздывала на пару, но оказалось, что, наоборот, вовремя. Она подходит к самому молодому омовцу, который стоит со шлемом в руках и до лоска начищает его носовым платком. Омовец улыбается смущенно — видно, тоже в первый раз.

— Что же это тут, а? — спрашивает Вороника. — Ничего же не должно было.

— Сами только полчаса назад как... Митинг, несанкционированный. Идите, нечего тут.

— А кто митингует?

— Спартак.

«Что это, — думается ей, — не перепутались ли исторические планы, не наложились ли один на другой, как акварельные слои, насквозь просвечивая. Не на нашем, русском, этому быть, а где-то на манеже Колизея». (Но с того дня и в ней есть — жерлом, кротовой норой, червоточиной; а через год это жерло окружают четыре стены Колизея — так ее соседки будут называть большую комнату в коммуналке.)

Среди прохожих Вороника заметила двух своих однокурсниц, кинулась к ним и без всяких «привет-как-дела» уговорила прогулять политологию и постоять-посмотреть, что тут будет дальше.

— ...Знаете что, давайте напишем материал по горячим следам, так сказать. Вот про это все. Дадим потом в качестве практического задания Козлову или Сангину — ну, кому захотите.

Эти две девушки были в меру авантюристки и без меры разгильдяйки, такое сочетание приводит их к согласию.

Чередой, один за другим, проходят мимо другие однокурсники, но больше никто не решается остаться, все заворачивают к воротам, скрываются в корпусе — там их запирает охранник, пока все не закончится, чтоб не дай бог, ненароком...

А в густой толпе на Манеже таких же студенческих лет люди. Их лица неразличимы — на многих маски или шарфы, в глаза никто не смотрит.

Тишина заканчивается. Еще чуть-чуть и — серым дымом шашек заволокло площадь, и раздался отчаянный голос: «Россию — русским!..» Кто-то первым сорвал серебряный шар с си-ней елки и бросил его в сторону омона. Смыкался, смыкался омон, как будто хоровод вокруг елочки, заключал болельщиков в круг. Елка тряслась, и зажигались цветные уже огни шашек. Кричали: «Русские — вперед!..» Летели серебряные шары. «Эй, девчонки, а вы не боитесь?» Летели оранжевые конусы аварийных знаков, еловые ветки. По рупору передают заклинанием: «Будьте спокойны, будьте спокойны, не поддавайтесь на провокации, будьте спокойны», ом-ом-ом!.. На что митингующие отвечают бутылками с зажигательной смесью, елка вспыхивает и начинает гореть синим пламенем, как и вся страна.

«Не поддавайтесь на провокации!» Омон вяжет и увозит зачинщиков, за шиворот их в тарахтящие машины с решетками на окнах. Кто вырывается — палкой; кто избит — по асфальту тащить; голые спины оставляют кровавые следы на асфальте. «Поднимите же человека! Ну, поднимите же человека, свиньи!» Вороника и две ее однокурсницы прорываются через круг омона и видят, как одного, совсем мальчишку, толкают в автозак, а он все не втискивается, и двери не могут захлопнуться своими автоматическими объятиям, и падает мальчишка. Омоновцы, журналисты, зеваки — все замолчали. Омоновец встает на колени, щупает пульс и одними глазами напарнику: не-а. Он быстро встает и уходит, а им вслед: «Убили парнишку, убили, сволочи!»

«Помогите!» — просит Вороника и пытается нащупать пульс на мокрой шее, тормошит и ударяет его по скулам, только недавно узнавшим бритву. «Погоди же, — одними губами, — вернись!» Солнечный диск выныривает из облаков, и все становится ярче и контрастнее. Паренька схватывают и уносят на руках. И чуть отошли поодаль от кутузки на колесах, он вдруг вскакивает с чужих рук на ноги, подмигивает Воронике и убегает прочь.

Вороника смотрит на него непонимающе. Стоит и плачет. Нет, не страшно и не больно, и совсем не умиляет, просто, кажется, пустили слезоточивый газ.

*

На следующий день Сангин ведет нехитрую статистику... Сколько человек, воспользовавшись площадными волнениями, слиняли сначала с политологии, а потом и с его пары. Сколько сидели запертые охранником? И сколько были на Манеже — трое, лишь трое! — а остальные?

Читая объяснительные записки трех — девушки, надо же, все три, да какие там девушки, сколько им? — шестнадцать-семнадцать?.. эх-ма... — он подумал, что сам спровоцировал эксперимент, ведь вполне мог договориться с Михалычем, чтобы отменил политологию, и свою пару следом отменить, почему бы нет, мог.

Его кафедра находилась на предпоследнем этаже, оттуда открывался недурственный вид на Манеж и Кремль. Вчера, глядя в окно, как только-только слетаются на Манеж, он выпил кофе, крепко задумавшись над чем-то. А с приходом микроавтобуса внезапно сорвался с места. Он не отменил пару. На проходной кивнул охраннику в сторону синего экранчика камер наблюдения... Сквозь синюю призму там виделась Моховая. «Не выпускайте детей, — сказал он, — пока все не закончится, чтоб не дай бог, ненароком...» Так это было.

*

— А что, если наши дела засекретят?.. — беспокоилась однокурсница Вороники. — И никто ни о чем не будет знать семьдесят восемь лет, такой ведь срок давности?

— Такой, — отвечала вторая. — А потом, может, даже опубликуют с помпой. Источник — вымарано, сказал тому-то — вымарано, то-то — вымарано. Дата. Рассекречено.

- Голова болит, — говорит Вороника.
- Что случилось?
- В толпе вырвали клоч волос.

*

Почему в мире нет ничего постоянного? Вот было бы что-нибудь постоянное. Например, каждую среду с десяти до одиннадцати вечера сидеть у Наркомфина. Но ведь его могут снести, — отвечала Вороника сама себе.

Ей вспомнилось, чему их учили в школе — ходить гуськом от школы до выставочного зала и от зала до школы, не отставать, не отставать, скорее-скорее. Обводить по пунктиру картинки. Что-то постоянное, казалось бы... Жутко, когда в мире ни за какую соломинку не держаться, потому что ее саму через мгновение сметет водоворот.

...в этом диком, безумном,
бездомном городе
были все времена — и все проходили мимо;
все чего-то ждала, будто женщина в проходной,
утопая в дыму папирос —
Россия.

Потолки Наркомфина были выкрашены синим, и стены тоже, все четыре, без исключения, как на дне морском.

*

Прежде заведующая складом жила в доме Наркомфина — огромном затопленном корабле. Но мы застали ее в то время, когда она бегала с сыном по Москве и искала жилье. Нашлась будущая комната Вороники, совсем коробок. А глазами

шестилетнего мальчика — интересно и неопознано, и он ищет в коммуне свой уголок.

Пока проходят дни молодости заведующей, знакомые ее влюбляются и влюбляются в них — днем за улыбками московских булочниц, прачек и секретарш мы это угадываем. А что ей достается — в шестидесятые ехать на кладбище, там в шестнадцати закрытых гробах хоронить братьев и дядьев, найденных после войны.

Женщина вернулась; и ведет своего сынишку на крышу по внутренней лестнице. И когда она открывает дверь чердака, солнце их ослепляет. Крыша оказывается единственным куском суши, старая крытая железом крыша, а вокруг, до пятого этажа их дома — синие волны моря. Всю Москву затопило море. На крыше шезлонги и гамаки, большие белые зонтики раскрыты над цветными полотенцами. Это последний кадр.

МЛАДШИЕ БРАТЯ КАЛЬВАДОСА

Рассказ

1

Вечером воскресенья, поеживаясь от колкого ветра, вы идете по бульвару — первому, второму и третьему — подряд. Стены домов вмерзли в асфальт, и если так идти, никуда не сворачивая, то получится по кольцу, по кругу, так и самому замерзнуть недолго. Вы же хотите поскорее убраться отсюда, желательно незамеченным, чтобы не пришлось ни с кем здороваться и стоять на ветру. Укрыться бы с огненным пойлом за какой-нибудь ширмой, закурить, вытянуть заочневшие ноги... Но до кофейни намного дольше, чем до книжного.

Мяукает колокольчик на стеклянной двери, ветер рвется вперед вас, все разом поворачиваются: кто держа Сервантеса за корешок, кто маленького Сальвадора Дали на руках. Здравствуйте, Константин Кальвадос. Никто не узнал — можно выдохнуть.

— Алло! — отходите в самый дальний угол. — Кто это? Это ты, дорогая?.. У меня... у меня все хорошо, правда. Просто так... А приезжай сегодня! Почему это сразу — как стеклышко. Говорю же, просто так. Соскучился — наверное, это так называется. Ну, не сердись. У меня бутылка... чего ты хочешь — вина, коньяка или чего покрепче?.. Нет, тебя можно и без чего покрепче, я не то имел в виду. Просто мне очень плохо. Очень, правда... Прости меня, дурака. Просто я же сказал — соскучился. Ты голодна, может?.. Из Владивостока родственники привезли ведерка красной икры, сладкая очень. Приезжай, ну все, давай!

И объясняй ей потом, что нет никаких родственников на том конце страны и икры никакой нет. А она и не вспомнит ни вечером воскресенья, ни утром следующего дня, и из квартиры уедет быстро, без лишних разговоров. У нее экзамен, зимняя сессия у этих ваших студенточек. И все бы ничего, но как же вас потом раздражают женские волосы в раковине: один, еще один... РАЗ, два, ча-ча-ча, раз, два... Идете по рядам и постукиваете по переплетам: никто не придет, это точно, никто-никто, да и не надо, только куда деваться, бумагу купить — вспоминаете. И снова: раз, два, ча-ча-ча, раз... и вы уже не можете удержаться, потому что тело, учуяв ритм, навострилось. Десять лет танцевать латиноамериканские — от этого сложно отвязаться. Последние два года не танцуете, только вспоминаете. Прихрамываете на левую. Пьете по утрам все чаще не кофе. Стали любить электрический камин, так похожий на настоящий, смотреть на искусственный огонь, зажигаемый нажатием кнопки, греться, зная, что на улице кто-то идет против ветра, как две минуты назад шли вы. И каждую неделю шлепать на небесно-голубой Unis de Luxe, стихийно купленной на развале, шлепать письма двоюродным братьям-несмышленишам; им больше повезло — они за границей родились и живут, и счастья своего не знают. Распрощаться со своей жизнью, с квартирой вашего дедушки, с виски в домашнем баре и, главное, с уютом электрического камина — вы готовы, так вы их любите.

А теперь правду: просто в вас не угасла надежда уехать отсюда, бежать. Бежать не имеет смысла, все равно хромота не поможет далеко унести, снова на улице — мяукнул колокольчик, порыв ветра нырнул под полы пальто и затесался где-то между подкладкой и рубашкой, — остается только терпеть снег. Кальвадос не любит снег — непременно начнется насморк и все пойдет насмарку. Он любит возвращаться домой, каждый раз с удивлением обнаруживая, что дома без него ничего не изменилось.

И я тоже люблю приходить в пустой дом: выпускать тишину из углов, зажигать свет поочередно во всех комнатах и закрывать окна шторами, чтобы никто не просунул свой пытливый взгляд. Я люблю приходить и — нырок в черноту, где никого нет, даже света; и только потом уже люблю все эти действия: шаги, шум, огонь. Кальвадос не любит этого. Он долго сидит на комодике в прихожей, не раздеваясь, не снимая ботинок. Он будет сидеть до тех пор, пока не обнаружит себя в луже растаявшего снега. Каждый раз это становится для него столь неожиданным, что он долго не может вспомнить, как это могло произойти: только он шел... Опомившись в этот раз, он застал себя за разглядыванием пятна на стене — уже согретый, но не целиком, словно зима достала его до самых костей. Нужно поставить чайник. Напиться горячим кофе. Наливая воду, он вспомнил свое пританцовывание в книжном и не устоял: раз, два, ча-ча-ча, раз, два... Ах! Прихватило колено. Несколько минут вы растираете ногу, пока боль не отступит, а потом, ковыляя, возвращаетесь к комоду, на котором оставили бумагу. Старые газеты и просроченные счета, в этом ворохе есть и письма — нет, не от братьев, а те бюрократичные, напечатанные однотипными фразами, с окошечком для обращения, куда имя вписано намного позднее остального текста. Конверты из налоговой и пенсионного фонда, Кальвадос никогда не торопится их читать. Он слишком хорошо помнит то первое, что ему прислали в девятнадцать, в нем говорилось, что пора бы уже задуматься о старости.

2

Она сняла резиновые сапоги, поставила рядом на влажный песок и босиком взобралась на качели. Раскачивалась так сильно, что мятная лента в ее волосах, ей казалось, взметнулась выше солнца — оно ненадолго выглянуло и заласкалось

ко всем бродячей собакой. Холодно и стеклянно, улицы, как и положено, пересекаются строго перпендикулярно, поблескивают на солнце копейки, оброненные около ларька, все как всегда. А она отталкивается изредка носочком, не боясь замараться и даже не думая, как потом домой, — унося с собой скрежет песка в сапогах. Тщедушная старушонка подойдет совсем близко, надломится, как прут, и подберет копейки. После работы Константин всегда ходит по этому бульвару и ничего не видит.

Чайник свистит. Быстрорастворимого кофе — щепотка на дне жестянки, а когда-то вы сами мололи зерна, когда очень хотелось жить. Что же теперь делать? Смешать остатки кофе с черным чаем. Ну и дрянь же, придется соблюсти традицию и выпить виски, в домашнем баре как раз полбутылки. Вам смешно: когда-то вы не могли себе этого позволить — ни виски, ни безысходности. Студентом делали в общежитии самопал из апельсиновых корок. Комендантшу угощали на юбилей, дарили ей цветы, надранные на университетской клумбе, недаром старушка пыталась вспомнить, откуда они ей так знакомы. Она Константина любила, всегда у нее находилось для него полбуханки — ох, но какой вкусный хлеб был в студенческие годы! Теперь Кальвадос его не ест, наелся досыта.

— Ребят, ну кто просил снотворного класть? — смеялись вы тогда, разливая оставшийся спирт по кружкам, и начиналось...

А сами линияли в коридор, чтоб сидеть на подоконнике со своей бывшей партнершей. Лампочка, перегорая, озаряла лицо недурной Эллы, так ее звали. Она бросила Константина ради более перспективного партнера, полгода прошло, он еще прекрасно помнил ее тело и гримасы страсти, что они должны были изображать на паркете, только ему изображать ничего не приходилось. Отдав ей последнюю сигарету в пачке — проклятая примета последней сигареты не отдавать, — он понял, как сильно ненавидит Эллу. Вы вряд ли вспомните, что было

потом, поэтому я напомним: ты что здесь делаешь? — начали вы полусшепотом и задохнулись — в угаре фруктового спирта. А она сидела на подоконнике, забравшись с ногами, выпускала дым через нос и не обращала внимания. Только камушек ее пирсинга заигрывал под лампочкой — и это вас злило. Тогда вы сбросили ее с подоконника. Просто взяли и толкнули на стекло, а окна в общежитии тонкие, как из пергаментной бумаги. И как причудливо озарялось ее личико, как причудливо; лампочка моргнула и перегорела.

Неоднократное, неоднократное спасибо за комнату на третьем из семнадцати возможных этажей, это Эллу упасло. Утром вы проснулись в отделении милиции с новостью об отчислении, вы даже были рады, но, узнав причину отчисления — хулиганство, а именно: неоднократная кража цветов с университетской клумбы и порча стеклопакетов общежития, — рады быть перестали.

Константин ждал повестки несколько месяцев. Потом милицию переименовали в полицию, и с концами.

3

Это, наверное, счастье — ехать теплым осенним днем на велосипеде с отцом, сидя позади него на детском стульчике. Ехать, помахивая головой-колокольчиком, и смотреть, как деревья рассыпаются листьями. Со мной такого не приключалось. С Константином тоже.

Хрупкая солнечная идиллия: воздух приобрел окончательную прозрачность, деревья просвечивают каждым листиком, даже теми, что отпускают от себя. Дороги сухи и светлы, а небо в лазурной глазури — как это все недолговечно.

Только вы проводили взглядом велосипед, веселый стрекот спиц отстрекотал в осеннем воздухе, как что-то рухнуло прямо под ваши ноги...

— Подайте сапог!

Вы нехотя оборачиваетесь, у детской площадки стоит девчонка, совсем мелкая.

— Что?

— Сапог... пожалуйста.

— А, держи...те...

Она натягивает сапог на босую, перепачканную песком ногу, какое зрелище.

— Удобно это, — иронично замечаете вы.

— Ага, у вас тоже есть такие?

— Нет.

— Жалко. А если бы были — можно по лужам.

— Не думаю, что мне этого хочется.

— А дождевик?

— Что?

Эта девчонка начинает вас раздражать, зачем она с вами говорит, так не должно быть, разве ей не говорили, что так нельзя. Сам виноват — хождение по бульварному кольцу еще никогда ни к чему хорошему не приводило.

— Дождевик... такой прозрачный... а иногда не прозрачный. Разные бывают.

Вы смотрите на нее внимательно: совсем дурочка?

— Как тебя зовут? — (Отвечает). — Нет, — вдруг говорите, — это имя некрасивое. У этого имени есть только одна красивая форма — Стася, лучше так. Тебе больше пойдет.

Кальвадос — это тоже потому, что вы хотели бы все начисто переписать, заново, с самого начала.

К вечеру хрупкая солнечная идиллия расколется в дождь. Под ногами месиво воды и опавших листьев, где-то их так много, так густо, что каблук утопает, и вода холодная просачивается в ботинки.

Когда он подошел к дому — в том месте спуск, градусов под семьдесят, Кальвадос представил, как сейчас поскользнется

и разобьет себе затылок. Кошки выскребали его душу; на улице непогодилось, на сердце нерестилось, хотелось теплой женской, хотя бы маленькой теплой руки.

4

Яблочки раечки, рябина и холодная сентябрьская трава. Земля окоченела от первого внезапного мороза. Вы делаете глупости — разгоряченными после занятий валитесь на землю. Она так близко, партнерша, о которой Константин не знает ничего, кроме того, что после танцев, проголодавшись, она щелкает орехи; что есть у нее родинка над левым соском; что размер ее обуви тридцать шесть; что номер группы в университете... Впрочем, ни об одной из своих женщин он не знал так много: все эти капризы, разговоры по телефону с отчимом, кривляния и, когда тренер отойдет, грязные ругательства, так неожиданно выстреливающие из девичьего рта. Вы смотрите на нее, как она запрокидывает голову в нервическом блаженстве. Вам холодно, вы ведь лежите на ледяной земле и не сразу соображаете, что лучше бы снять пиджак и накрыть им партнершу. Вам хочется подле нее свернуться клубком, сделаться шерстяным, попасть под кошачий Эллин коготок... А если она замечает, быстро переводите взгляд на ветки над головой, колючие, а Элла мягкая и теплая, и это вы сподвигли ее на это землепреклонение и, может, тогда-то застудили себе все внутренние органы, сердце в том числе.

— Эй, чего это ты? — прерывает нас Стася. Она явно недовольна, стоит, волнует бровки. — Эй, чего это ты?

Чего это вы, в самом деле? — а вы второй месяц ходите после работы в один и тот же книжный, как бы за бумагой для Unis, но ничего не покупаете, а иногда и не заходите. По пути в этот книжный находится та детская площадка, где после школы Стася катается на качелях. Вы решили, что будете сидеть

рядом на скамейке и незаметно оберегать ее, она ведь такое доверчивое существо. Чаще всего вы читаете газету, но там все неважное, поэтому рано или поздно вы возвращаетесь домой, внутрь себя; а Кальвадос любит возвращаться домой. Он сидит внутри себя и не включает свет. Он так и будет сидеть и смотреть в одну точку, пока не подбежит Стася, не спросит... А почему газеты тебе не интересны, Костя?.. Как-то раз спросила так, и как нужно было ответить девчонке, что ему плевать, что там происходит, ему больше нравится думать о себе, а не о стране. Или о том, что его соседка с пятого этажа уже два года не была на улице, она в инвалидной коляске. А страна — что это такое? — что-то расплывчатое и далекое, будто совсем чужое.

— Не озябла? — спрашиваете Стасю, еле сдерживая улыбку, чтобы не подумала, что вы с ней заигрываете.

— Не, — улыбается она, — слушай, Костя, а ты женишься на мне, когда я стану взрослой? — и какое-то наигранное лукавство, эта внезапность сбивают вас с толку, вы окончательно откладываете газету.

— Слушай, — говорите, настраиваясь на ее лад, — давай посчитаем. Тебе сейчас одиннадцать, замуж можно будет через семь. Семь лет — это целая жизнь. Еще сто раз успеешь передумать.

Стася, не ожидавшая такого ответа, заливается смехом, бровки ее скачут. Константину становится неловко и глупо, и неуютно, и совсем уж не по себе, он бы встал и убежал, да хромота далеко не пустит.

— Это я так, — продолжает она лукавствовать, — пошутила, чтоб ты темп ускорил.

— Темп чего?

— Темп жизни!

А потом без смеха: «Костя... А в тебе сколько моих жизней?» — «Одна». — «Почему одна?» — «Потому что ты у меня

одна». — «Нет, я не про то. Сколько тебе лет?» — «А, тогда во мне три Стаси, представляешь, целых три Стаси».

И если в нем три Стаси, то почему кажется, что там никого?

Вы сидите перед окном компьютера и гипнотизируете цифры — всемирная статистика смертей за этот день, число растет. Гипнотизируете пять минут, потом вдруг удивляетесь чему-то и закрываете окно. Вам кажется, что это неправда — никто в этот день не умирал, да и можно ли.

5

По асфальту волочится недельной давности газета — желтоватая иссохшая вобла. Осенний ветер подгоняет, она кружит над каждой лужей, желая напиться. Трется о клумбу киноварных бархатцев, виновато шуршит. Ветер отрывает ее от земли и уносит от детской площадки, она на красный свет переходит дорогу и исчезает в рябиновой аллее.

Закончилась в Москве дождливая осень, началась теплая и туманно-призрачная, с переливами многоцвета, как будто опаловая. Вставь в глаз кусочек опала, как пенсне, и мир заиграет. Как же сильно захотел Кальвадос, чтобы мир заиграл. Как же сильно захотел Кальвадос опаловые глаза.

Он не может смотреть, как выкорчевывают детские качели, говорят, здесь, рядом с бульваром, будет стоянка, стойбище автомобилей.

После стакана виски, когда вы этим стаканам счет потеряли, и давно перестали смотреть статистику, и давно заправили ленту и бумагу в пишущую машинку, вы поняли, что вам больше не о чем писать вашим братьям. А вам так нравилось брать с собой в кофейни Unis, шлепать там — пусть все считают, что вы интересный человек, что вы заняты делом. И все ваши студенточки, вы с ними так и знакомились, они думали, что вы

писатель. А вы работаете в консалтинговой фирме и сами не можете толком объяснить, что такое консалтинг.

Качели выкорчевали, и по периметру всей детской площади, пока еще уцелевшей, прорыли туннель, ведущий куда-то в ад. И над обрывом, в кабинках игрушечных машин сидели дети, отыгрывали свое. Среди них ее не было.

Вы не знали, чем теперь заполнять вечера. Как-то утром проснулись: на улице лежал первый снег, нетронутый, совершенно неприкосновенный. Зимовать? Вы слишком долго ждете каждый раз, пока раскроются чайные листья в чашке, медленно упадут на дно; так и сердце — одичавшись, гадает: когда же меня закрутит подобный вихрь? Желтый клен. Пруст? На столе книжка лежит, надо бы дочитать по направлению к Свану. Берете ее и, прихлебывая, открываете — чай остыл! — закрываете, кладете обратно и снова ждете, пока закипит чайник, чтобы заново заварить траву. Вот так вы и читаете. Но как-то вы вернулись домой и взяли с полки не ту, а первую попавшуюся, открыли ее и захлебнулись: вы увидели, что все мы грешны, с первой же страницы. Ни одной сигареты не нашлось в утешение — парадантоз, импотенция, смерть, — что там еще пишут...

6

Неправдоподобно это пробуждение утром, кажется, понедельника. Лимонные блики, забегающие в комнату, — откуда им взяться зимой. Головная боль, что оттачивает свое ча-ча-ча прямо по черепу. Вы не смогли вспомнить, с кем засыпали. Потянулись к прикроватному столику, взяли чашку холодного кофе и медленными глотками осушили ее. Только на самом дне догадались, что это был больничный, тряпкой пахнущий стакан, а в нем мерзко-сладкое какао. Вы опустили на подушку и снова уснули, вы были не против такого сна.

— Итак, давайте сначала, — говорил он. — Вас зовут Константин Барышников. (Барышников, друг мой сердечный, — вспомнили о твоём существовании?) Сегодня ночью мы подобрали вас на стоянке на пересечении улиц... Предположительно, вас сбила машина. Легко отделались, ссадины. Находились в состоянии алкогольной интоксикации. При вас был паспорт. Да, это резонно... уходить пьяным в ночь, имея при себе паспорт. (Он что, издевается?) Вот, это ваше. А еще часы, кредитка, конверт и остальная мелочь.

— Какой конверт?

— Та-ак, вот.

Конверт, а внутри сложенный в четверть белый лист; ему так сильно хотелось, чтобы там внутри детским почерком...

У меня все хорошо, правда. Родители кажутся счастливее. Пусть не в центре, но квартира больше. С понедельника пойду в новую школу.

ПЕРЕЛЕТНЫЕ

Рассказ

Дедаю год, значит, снова варить кутью и жарить блины. Бабушка плачет: «Еще полгода прошло — как снова отмечать». «Не отмечать, — поправляю я, — *а поминать*».

Год назад его похоронили и помянули без меня. Я летела; я пила порошковый кофе, согласно этикетке, сублимированный в нижегородском подвальчике (но какое кому дело, где его сублимировали, если ты выше облаков). Январскую Москву и съемную квартиру, где на советских коврах были тибетские мандалы, я бросила; туман тогда засеивал крыши высоток Симферопольского бульвара своим белым семенем, и мы с мамой на дороге пили русский чай, с лимоном, и напрочь убивали вкус чая.

Но траурное сообщение заставило меня тогда искать пути в Москву, обратно. Через Стамбул?.. через Питер?.. через Ригу? В Ригу — на пару часов, в Стамбул — в ночь, в Питер — на целую ночь и утро, но знакомый не пустит переночевать, у него там целая семья, двенадцать человек и бабушкин военный любовник... Мне везет, находится прямой рейс, и вот Москва.

В Кельне было плюс три, в Москве — минус пятнадцать. Первым же вечерним поездом я поехала туда, где еще холоднее, где в окоченевшей земле теперь зимует дедай, где наутро мне сварят кисель и нальют вина. С порога — удушающий ладан и бабушка: «Насилкой дождались, приехала одна или с женихом?» — «Одна, без женихов». — «А я без дедушки своего».

Пустится в робкий, скупой, почти высушенный плач. Расскажет... «Умер он на полу, в задней. Говорит, постели мне, так хочу. Гроб красивый купили — бордовый. Тридцать четыре человека было».

Хоть стреляй, в упор ее не слышу, в голове все крутится отточенным женским голосом... «Нэхьстэр халът — Ноймаркт. Нэхьстэр халът — Рудольфплац. Нэхьстэр халът — Юнкерсдорф...» А в нашем роду не осталось больше мужчин.

На кухне к стене приклеен плакат с названием птиц на каком-то из мордовских языков; семьдесят с лишним лет дедай прожил в республике, а за три дня вздумал выучить. Перебиты ступеньки и пороги, переставлены иконы. Он будто чувствовал, что скоро уйдет, и хотел как можно больше от себя оставить в своем же доме.

Бабушкина комната заставлена ящиками: до сорока дней — для всех, кто придет. «А будет лишнего, поминальное вино оставим. Вино же, как мы, не старится, а только лучше становится. Вот... вроде, как и не жили».

Вспоминать все у бабушки сердце закатывается, и она просит оставить ее одну. (Год спустя она уже если и плачет, то никому не показывая.) Я уйду на встречу с Машей, подругой школьных лет, с тех времен она будто все та же — монументально спокойная, даже ветер не колышет отросшие волосы — ветра нет; она всегда спокойная, — думаю я, — всегда перетекает в ней какая-то неведомая полуфлегма. А те, что улетают, наверное, беспокойные, им не сидится на месте, они памятниками быть не могут, они вообще боятся памяти.

Перед моим переездом в Москву... Хорошо это помню, каково было сидеть с Машей на Соборной площади, таращиться полуслепыми из-за ослепления глазами на таких же выпускниц напротив — они в закатном контражуре, волосы у них горят в розовых лучах нимбами, вполне себе полнокровные девушки, ничего святого. Темнело, становилось холоднее и размытее,

но в памяти ярко — идти после прощания с Машей — с Соборной, с колодцем в груди, глядеть на дребезжащий зеленый огонь светофора, смигивающего слезы.

*

Здесь стали насаживать яблоки на палочки и обливать их карамелью — нашу антоновку и обрусевшие штрейфлинги. Вот и все перемены за год. Дедаевы плакаты с птицами содраны со стен, кухонька отремонтирована в четыре женские руки. Неизменно одно — отчаянная скука. Что делать тут, дома, с места на место посуду переставлять, и книжки еще. Рубились в крестики-нолики, чистила снег, по морозу гуляла километров по десять за день. Ходила, не увиденная никем: то в бабушкиных шароварах и цыганской юбке, то в бурках на вязаный носок; а юбка ее цыганская, которую я все детство мечтала, выросши, отнять у бабушки, мне до сих пор велика.

По вечерам печеные яблоки с корицей и чай. Маша в гостях. Бабушка захочет открыть варенье, будет долго греметь в подполе и искать единственно нужную банку, а откроет, расстроится:

— Не то вам хотела... Никак угадать не могу, будто первый раз живу. Это невкусное, торла!

— Это что за торла такая?

— Торла она и есть.

— А почему невкусное?

— Ягоду эту нарвали, дикую. Не выбрасывать же, для гостей наварили.

— А мы и есть теперь гости... Давай торлу свою.

Маша посмотрит и определит: слива.

— Не слива это, — заспорит бабушка, — торла!

— Раз уж на то пошло, — кивну я на стол, — то эти яблоки не корицей посыпаны. Продавцы этой корицей пудрят нас. Все полки в магазинах завалены дешевой индонезийской кассией,

даже вредной. В Германии как узнали про подлог — всполошились. Из этой кассии в России крысиный яд делают. Настоящую корицу выращивают только на Цейлоне. Но Цейлон с гулькин нос, а мир большой, и все хотят на Рождество имбирные пряники и яблоки с корицей.

— Я и подумать не могла, — удивится Маша, — ну надо же, вечно ты... А где же тогда ее, настоящую, найти? На Цейлон лети тогда.

Я провожаю ее до дома и встречаю соседа по улице, доцента местного университета. Он заметил меня задолго до того, как я надумала от него на другую сторону улицы перейти, — эй, москвичка! — и останавливает нас минут на двадцать. Своим крохотным язычком, похожим на лакмусовую бумажку — красный, а на морозе синее, — постоянно облизывая губы, то и дело к любой теме добавляет: «А хотела ко мне на ФЭТ поступать, вдохновилась светотехникой».

И внезапно:

— А дед-то твой где? Всегда такой деятельный был, на улице что-то мастерил, давно уже не вижу его. В деревне, что ли?

— В деревне, — киваю я, — на кладбище.

— Как?..

— Уже год как. Поминки скоро будут.

— Я и не знал. Такой хороший человек был. Как-то на тополе, вон там, отроились осы, так он сам на дерево залез и сбил их.

Он доходит с нами до того места и показывает на пенек: нет тополя — спилен, совсем ничего от деда не остается.

*

За несколько дней до поминок мы соберем всю оставшуюся с праздников пиротехнику — римские свечи, огни и петарды, — вынесем во двор и устроим бессмысленные залпы, просто так, лишь бы отгорели до углей, чтобы не осталось ничего. Зажжем

костер из бумаг и моих детских рукописочек, я буду ворошить их длинной палкой, и выпущенные огненные искры станут уноситься на небо и таять. И все отгорит. На снегу только с десяток черных камышовинок останется. Замерзнем, побежим в дом...

Горнятко горячего чаю²,
торловое варенье,
wunderkerze³.

Какое счастье, что на теплые морозные вечера санкции не наложены, хотя именно таких мало: когда можно с улицы зайти в натопленный дом и погреть руки у галанки, а раз не у галанки, то хоть у АКГВ. Напиться чаем и до ночи сидеть на кухоньке, поджав под себя ноги, долго-долго разговаривать. «Знаешь, — скажет Маша, — я посмотрела в интернете, торла — это и есть слива, но на каком-то из мордовских...»

Совсем скоро не до торловой тягучести будет, начнется поминальная канитель. Так и представляю: привезут из деревни на старенькой «Ладе» бабушкину сестру, та будет сидеть в углу, где дедай умер, и командовать, сколько и каких печений и конфет покупать — на стол, на кладбище, монашке в гостинец; а потом выяснится, что не печений, а пряников, и лучше монашке конфет развесных, да и вообще, мало.

— Он больно уж тархун любил, — скажет бабушка, — давайте выпьем по стаканчику, за него.

Когда будет провожать гостей, она спросит у пришедших мужчин, почему в гости не заходили эти полгода — боялись, что заставит по хозяйству помогать? Пусть не боятся, не заставит. А потом как бы невзначай заметит: «Ножи что-то совсем не точены, и проводку в прихожей, кажется, менять пора.

² Горнятко горячего чаю (укр.) — чашка горячего чая.

³ Wunderkerze (нем.) — бенгальский огонь.

А то дедай, — она мягко чертыхнется, — был живой — наделал такую, что замкнет, заискрит».

Бедный дедай!.. И умрешь, все покоя не дают, припоминают.

*

Хотелось, чтобы это новогодие, да что там новогодие, чтобы вся жизнь была как Wunderkerze. Утешение мое, еще из Кельна пачка осталась, — kaugummi mit zimtgeschmack⁴, а еще — что завтра будет аномальная плюсовая температура и можно будет долго гулять, а еще — что через три дня понедельник, я сяду в поезд и уеду в Москву.

⁴ Kaugummi mit zimtgeschmack (нем.) — жевательная резинка с ароматом корицы.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДИПТИХ

Два рассказа

ПЕРЕИНАЧЬ МЕНЯ

Сквозь чащобу, поднимая небывалый в этом лесу шум, децибелов под сто, продираются в белом — санитары, в черном — криминалисты, в синем — полицейские. Он же висит на ольховом суку, ветром непоколебим — во рту крепко зажал свою тайну. Пара минут — и мешком картошки бухается на землю, подрезанный верной рукой санитаря, криминалиста или полицейского, я не заметила. Они галдят: куда носилки, куда оранжевую ленту, куда овчарок пустить — обнюхивать чащобу. Помертвевшими ладонями он накрывает уши, чтобы не слышать этот гвалт, переворачивается набок и медленно, как спросонья, встает и уходит прочь.

Зал взрывается аплодисментами, на экране вспыхивает название фильма — и сразу же негодование, — фильм не тот.

— Боги! Боги! — сначала вразной, а потом (быстро подстроились) слаженно.

— Я ради того!.. — надрывается один наперекор всем. — Про хирургов!.. Я из самогó!.. Из самого Подмоскóвья!.. На электричке пиликал!..

Чудеса воскрешения стали им не нужны, чудеса вскрытий и микроопераций им подавай. А мой отец, — думаю, — хирургом не стал, руки дрожали — тонкие изнеженные пальцы, как и у меня.

Несколькими месяцами ранее

телохранители выстраивались живым частоколом, мэр закруглялся, последние фразы отштамповывал: «Зачастую они

спасают людей, и сейчас все незримо присутствуют вместе с нами, даже те, кто на дежурстве, это благородные, самоотверженные люди». Со сцены он хлопает врачам, сидящим в зале, и в частокле спускается.

— Ну, хоть мэра города своего увидел, — шепчет мне отец.

Свет гаснет, и кровавый занавес лоном роженицы раскрывает перед нами сцену.

«Еще в прошлый раз хотела тебе сказать, что ищу какую-нибудь вечернюю работу, так, чтобы сразу после пар в институте, хотя бы официанткой. Но ты же понимаешь, это общепит, нужна медкнижка. А у тебя столько знакомых, может, сможешь мне эту комиссию где-нибудь быстро пройти, вся надежда...»

На маму — медсестру — надежда закончилась, она с этим не помогала даже на школьных медосмотрах. Думала, что все дело в женском враче, его боюсь. Хотя и его стоит — будто в душу залезть пытается. «У тебя что, душа между ног?» — усмехалась она. А мне кажется, что неспроста крестец на латыни — сакрум.

«С ума сошла — комиссию пройти?.. Представления у тебя какие-то, выдумщица! Кто сейчас комиссии проходит, чтобы медкнижку получить? Купить проще. Найди только фирму, чтобы выглядела солиднее, чтобы липа была качественная: с печатями, подписями. Никто не придерется. Ты же не в госструктуру хочешь встроиться».

А мне казалось, что санэпидемстанция проверяет книжки, по базам пробивает. Мне казалось — уголовная ответственность. В госструктуру — ты же когда-то хотел, чтобы встроилась. А познакомившись с судебными приставами (заставили платить алименты), шутил (да и шутил ли когда-нибудь), что неплохо и мне — приставом.

Сидела бы сейчас на их поздравительном концерте, где кровавые занавесы не раскрывали, но вставали четырежды: внос-вынос флагов, внос Стратилата Феодора на еловой доске, гимны,

минута молчания, — и пятый раз чуть было не встали, когда на сцене появился ходячий символ — Иосиф, в своем бархатном паричке-пылесборнике. Появился и как начал под фанеру разевать накрашенный рот.

«Человек-эпоха» — протянул бы какой-нибудь сидящий слева престарелый судебный пристав. И со сцены мэр продолжил бы: «Судебные приставы — это благородные, самоотверженные люди, блюстители чести и верности, и сейчас они все незримо присутствуют вместе с нами, даже те, кто на дежурстве».

Феодор Стратилат, самолично федералами назначенный их небесным покровителем, — вот кто незримо присутствовал бы, со сцены и не унесенный.

В антракте отец вытягивает из себя, как ниточку сахарной патоки, какие-нибудь слова, какую-нибудь тему, подходящую для светской беседы. Его врачи, ради которых был спектакль, приходят на подмогу, сокрушаются: днем пришлось просидеть на скучной врачебной ассамблее — морока суцая, даже без фуршета.

Еще двумя неделями ранее мы встретились с ним на Лубянке: он в кожаном пальто, я тоже в пальто, в елочку. Сколько лет мы не виделись, четыре или пять, — и он потупляет слезящиеся глаза (у него всегда на ветру слезятся).

— Дерматин? — небрежно треплет мою сумку. — Ничего, качественный. Куда пойдём?

— Мне все равно, давай просто прогуляемся.

— Высокая такая стала...

— Это каблуки.

— Раньше не носила.

— Раньше ты меня на руках носил, лет двадцать назад, недолго.

— С днем рождения, кстати.

И долго крошит ногами сухой снег, пока не решается на спасительное:

— Значит, идем в ресторан — отмечать?..

*

Последним, на исходе дня написал отец:

Когда ты родилась, так же выпал первый снег.

Еще в то время, несколькими неделями ранее, расстреливали Белый дом. Мама так впечатлилась Белым домом и первым снегом, что хотела назвать меня Снежаной. Но отец воспротивился: «Так только определенных провинциальных девочек зовут», — и назвал Валерией, вероятно, в честь определенной девочки римской; вакцинировал. Когда-нибудь я узнаю послужной список Валерии Мессалины — и присвиствую.

Мы все шли от Лубянки, а ничего толкового, как нарочно, не попадалось: чайханы и хинкальные — чьих кафе больше в городе, те в городе и заправляют капусту маслом. Одно время Москву заполняли суши-бары — и таджики, накручивая роллы, усердно изображали из себя японцев и китайчат.

Мы шли и почти не разговаривали, пока нас не поглотила гостеприимная пасть итальянской trattoria, там-то отец отогрелся и стал разговорчив. Теперь он — начальник подстанции скорой помощи, а в свободное от больницы время — строитель: бригадирует над теми самыми таджиками, строящими его дом в Новой Москве.

Пока он рассказывал, мне все думалось... Похудел, эсминец солидный теперь, и костюм дорогой. Mamочки, только не говорите, что у него запонки в манжетах, это ужасно. Я потом тайком поглядывала на свое отражение в зеркальной стене — совсем не похожа. И параллельно рассказам его думалось дальше,

притаивалось-прислушивалось... Что там залегает под белой кожей и розовой мякотью мяса, что там залегает без цвета и формы, просто хранится с детства — с запертой темной ванной (я знаю, каким холодным может быть кафель), с кюреток и скальпелей в чемоданчике, с моделей автомобилей — коллекции моей ли, отцовской... Что там залегает снегами полярного края — не тает, — не знаю, и узнать не предвидится сил.

— А что — ты? — спросил он. — Живешь как?

Кажется, он застучал меня за разглядыванием своего отражения. Быстро перевожу взгляд: темноволосый кудрявый мужчина напротив меня, незнакомый. Что — ты?.. То есть что — я?..

— Все отлично, — ответила, — квартиру хочу снять. И работать, много работать.

— Хочешь, чтобы я забрал тебя к себе? — насторожился он.

— А ты бы забрал?

— Ну... Дом пока не достроен. Он этажа на три, может, еще мансарда. Так что это надолго. Когда ты позвонила, я подумал, что теперь вместе достроим. А квартира... Тебе далеко ездить было бы. Но хочешь — приезжай, конечно. Подружишься с женой, будешь ей помогать.

— Понятно. К тебе... к вам, то есть... нет, не собиралась. У тебя своя семья.

А у меня — думаю, — своя, юридически одиночная, как привилегированная камера в тюрьме. Но сейчас я знаю, что ты спросишь...

— А мама?

Весь он, до последней завитушки напряжился.

Мама? — хорошо ли, плохо ли, но когда с тобой начинают (все равно кто) говорить на другом языке: да пожалуйста, зибитте отсюда!.. — куда деваться со своими платьями, придется — и голая побежишь; я призадумалась и выдала все как есть.

— Ты выдумщица, — его эпикриз. — Не верю, что вы с ней до такой степени перестали ладить.

Мне не хотелось его переубеждать, официант как раз вовремя принес неаполитанскую пиццу, мне — кофе, ему — вина. Раньше все время пил чешское пиво и беременел с каждым годом, видимо, одумался.

— Ну что, одумался?

— Не расслышал, что-что?

— Задумался о чем, спрашиваю?..

— А-а, да музыку слушаю. Слышишь — на фоне песня моей молодости, а я... Неправ я был.

— Ты о чем?

— Вел себя не так.

Не стала допытывать, как именно не так, можно только на исповеди, так что пусть уж просто не так, уже хорошо. Мне вспомнилась мама, какой она была лет шестнадцать назад, еще в замужестве с ним... Вот она только вышла из спальни, на ней зеленый, прямо-таки виридовый халатик с вышитыми на груди белыми лилиями, а на щеке пара рубчиков от подушки — перележала. Вот она вся — твоя жена, моя мама, всем — сестра, пусть и медицинская: во всей широте своего грядущего спектра. Наступит день и час, когда это божье создание скажет, что любви нет.

— Вот мы с тобой... — продолжал он, — тоже как-то не так, но ты пойми. И ты понимаешь, я знаю. Родителей не изменишь — они какие есть, такие есть. И никуда от них не денешься. Это как осенью мороз с утра. Ладно, все-таки, где ты сейчас учишься?

— Там, где и хотела.

— Что ж. Может, и хорошо, что будешь делать то, что хочешь. А я архитектором хотел быть, а сам... Хирургия — это ведь тоже почти что архитектура. И кто знал, что у меня с ней не свяжется, а свяжется со скорой. А там ой как несладко. Вот на той неделе было, дом горел... МЧС-ники сказали: поднимись на седьмой этаж, там пострадавший — не успеем вынести. В лифте,

конечно, подняться нельзя. Я не пошел, это не по нормативу. Врач не должен идти в пекло, пострадавшего должны выносить наружу. Я не мог... У меня двое детей!.. — он запнулся, — трое.

— И что стало?..

— Что-что? — сказал он нервно и дернул рукой; запонка искринула и погасла; или показалось — нет там никаких запонок.

После продолжительной паузы он продолжил...

— А квартиру зачем снимать хочешь, разве у вас общежития нет? Зависеть не хочешь, наверное, ни от кого. А ведь самый верный способ стать самостоятельной — отдаться в надежные руки, такой вот абсурд. Мы тут с Ромкой недавно ходили в зоопарк. И я подумал: сколько медведю на воле малины надо съесть, чтобы выжить? А в зоопарке тебе сразу — нате — ведро помоев. Девяносто девять процентов времени на воле медведь думает, что пожрать. А ты представь, сколько у него свободного времени в зоопарке! Созерцать можно, стихи писать.

— Думаешь, ему на волю не хочется?

— Зачем она нужна, эта воля? Неужели ты бы не согласилась жить за государственный счет? Только условие — в пределах Садового кольца, не дальше.

— Не-а.

Мне вспомнилась недавно услышанная история про какую-то высокогорную общину. Кто рассказывал, что за община, его координаты — у меня не осталось никакой информации, никакой сухой выжимки, но осталось удивление...

Они живут высоко в горах и умирают рано, лет в тридцать.

— *А они не хотят спуститься на землю и жить как все — долго?*

— *Жить как все — долго? Нет, не хотят.*

— Не-а! — передразнивает он. — Пф, в этом мире долго не летишь. Только вылетел — крылышки расправил и...

Неужели тебе не хотелось бы к себе? Не хочется босиком по дому?

— Босиком? Очень хочется.

— Ладно. Звонила, говорила, что экстренно. Значит, не все у тебя так экстренно. Сиди ровно, не дергайся. У меня вот проблемы глобальные. Ладно, не будем о грустном. Идти пора. А то машину припарковал там, где не положено. Как бы эвакуатор не уволок.

Стемнело, снег перловкой загустил улицы, нам прощаться. Припаркованная машина в нескольких кварталах, метро за углом. Он вдруг вспоминает:

— Что тебе на день рождения подарить? Может, браслет или итальянские сапоги? Как это — спасибо, ничего не нужно?

Снова треплет мою сумку.

— Качественный все-таки дерматин, — говорит.

Еду в метровагоне и все не могу отбиться от образа: как эвакуатор тащит на своем горбу добычу — блестящую и черную, как касатка, «тойоту». Уволок или отец успел и колесит сейчас по Замкадью?.. Мы же мчимся в горловине беспросветного туннеля, и с каждой подстанцией нас в вагоне становится все больше. Древнего вида старичок заходит с ошалелостью в глазах, с сенильной деменцией в голове и, не найдя себе места, желтым пальцем грозит пацанятам: «Стариков почитать перестали! Да и бабам-то места не уступаете... Но зато хотите, чтоб они вам давали? Нет, ребята, в этом мире все же справедливость бывает!»

В этом самом мире, — качаюсь в ритм вагона и думаю, — очевидное и языкострашное, не боясь и не мямля, только сумасшедший и может сказать. Я чувствую какую-то жуткую неустроенность, неуютность пресловутого мирового устройства и затыкаюсь наушниками, втягиваюсь в себя. Через пару секунд мне уже поет голос, я киваю в такт. Ах, паскудный рок! — и я готова сорваться с горловины и позвонить, сказать

ему, как долго я его ждала, все детство. Всякий раз, приезжая из Москвы, отец звонил: «Сейчас приду». Это его «сейчас» длилось неделями.

Но я не звоню, потому что связи нет.

Он нашел машину на том же месте, где припарковался; дороги пусты, пробок нет — и сделал то, чего никогда себе не позволял, — стал по городу, попусту сжигая бензин, кружиться. А после вышел из оцепенения, выехал из Москвы, в круглосучном маркете купил две банки чешского пива и обе выпил в машине, чтобы жена не видела, не одобрила бы. Она уже спала во всю двуспальную, будто не ждала. Он заглянул в дочкину комнатку: пыхтит сном пятилетней девочки, щечки снегириныные раздувает. Прислонил ухо к двери второй детской. Сын втихаря режется в приставку.

— Ром, — сказал он негромко, но так, чтобы сын услышал, — на кухне твоя любимая пицца. Из настоящей итальянской траттории.

Он ушел в ванную, там сбросил с себя купленный специально для встречи костюм.

Долго и пристально разглядывал себя в зеркале, умылся, еще раз умылся. Размазал по щекам гель для бритья и весь рассыпался смехом: ерунда какая-то, чего это он вздумал на ночь глядя бриться.

Несколькими годами ранее при невыясненных обстоятельствах увиделись. Минут на двадцать, что-то наподобие краш-теста. Сможем ли дальше общаться. Дольше собиралась, переживала, к лицу ли мне сиреневое и как буду выглядеть — в нашем городе встречаемся, у всех на виду. От напряжения разнылись зубы мудрости, что начинали проклевываться.

Мое сиреневое было ему фиолетово, он ничего не сказал. Сам видом себя не утруждал.

— Ты знаешь, — спрашиваю, — что у тебя на футболке написано?

— Даже внимания не обращал, купил на распродаже — на стройке в ней работать.

И ходит транспарантом о насилии мировых устоев. Когда что-то заботит, — я задумалась, — ведь легче написать — на стене или на заборе, в книжке или прямо на себе, — нежели просто сказать.

— А что строишь?

— Дом достраиваю. Продам и вложусь в недвижимость. Пора бы уже становиться москвичом, сколько можно снимать.

Я заказала то же, что и он, — медвежью лапу и брагу; пиво — фух! — закончилось. Когда лапы принесли, оказалось, что это всего-навсего котлеты из печени.

— Где тебе столько медведей найти на котлеты? — взбесился отец, и глаза его вдруг загорелись идеей. — Разве что из зоопарка. Тех, что уже старые и просто так в вольерах дрыхнут. А лучше ешь, что дают. Стипендия, что ли, большая?

Я назвала цифру.

— Да уж, заботится наше государство о своих студентах. Не туда надо было идти поступать.

Смотрю вверх: брезентовый шатер летнего кафе украшает вечная восьмиконечная мордовская звездочка. Я уже не задаю себе вопроса, который трепал мою душеньку раньше, — почему родилась именно здесь.

— Я тебе помогу, — говорит отец, — научу, как делать. Будет немного легче жить. Научу, как легко заработать тысячу-другую. Просто сдавай каждый месяц кровь. Могу написать адреса частных станций, где прилично платят. Можно попробовать даже каждые две недели.

— Ты разве не помнишь?.. Мне нельзя.

— Даже раз в месяц?

Он говорил о чем-то дальше, а я представила, как мою кровь вольют кому-то, а наутро этот кто-то проснется и поймет... Ее во мне теперь больше, чем меня самого, стоит ли удивляться, что все мои прошлые привычки переменялись? Черный кофе без сахара, варить в турке, но ни в коем случае не до кипения; да на кой ляд эти незначительные детали, я понял главное: что с чужой кровью приобрел чужие мысли, и меня одолело невероятное чувство. Хочется взять расческу и распутать космы этого чувства. В чем причина, что она отдала себя, пусть и часть — мне, другим? Я прислушиваюсь к своей крови, а слышу ее. Когда человек молод и не богат, он отчаян, он бросается во все омуты. Может, родной человек посоветовал ей: «Хочешь подзаработать — сдай кровь». Человек, с которым не знаешь-ся четыре года — уже чужой человек; за четыре года проще сродниться со своей машиной — иметь с ней одну горючую жидкость.

Еще несколькими годами ранее

белый кремовый торт на увядающих сливках и виноград кишмиш, он всегда приносил их, когда приходил ко мне; чиркал спичкой, зажигал газ — ждал чая, молчал. С шестнадцатилетней девчонкой разговаривать особо не о чем — может быть, так считал. А может, боялся, что за стенкой подслушивают. Смотрел на меня, сидящую на табуретке.

— Ты за один день это придумала для себя, — говорил, — этот факультет. Кем ты вообще в детстве хотела быть?

И почему ты спрашивал меня об этом, когда мне было уже шестнадцать? Президентом хотела быть. В моем детском сознании президент соединялся с творцом небесным, они были равнозначны. Как будто наша неприлично молодая и жутко старая страна обзавелась новой религией, и дети, новое учуяв, быстро это в себя вобрали, как ртутинки спринцовкой скорей — пам, пам, пам.

— Полотером хотела быть, — сказала ему.

— Кем?!

Но ты меня не слушал, ты кричал: «В голове у тебя кишмиш, чьи гены в тебе, откуда такая?» — и, разъярившись, так хлопнул нашей деревянной дверью, что прикончил ее, сорвал с петель. Я смотрела тебе вслед и понимала, что по следам твоим не пойду.

Ступайте лесом по занавесам.

В ночных кошмарах моего детского сна.

Его нетронутый кусок торта я ухнула в мусорное ведро, а затем и весь торт — хотелось, чтобы от него не осталось ни крошки. Хотелось выскоблить тебя из себя.

Я выкрасила волосы в рыжий, проколола язык — чтобы ядовитей, выбила на крестце непереводимую тату — и поехала в Москву; нет, не вослед! — вопреки. Откуда мне было знать, что эти манипуляции не помогут; лишь накрепко спаявшись с другим мужчиной, только так можно изменить свой генетический код.

Вскоре после того, как ты хлопнул дверью, у тебя родилась вторая дочь. В саранской кардиологии твой друг-фельдшер рассказывал это медсестричкам, мама подслушала и рассказывала это своей маме, я подслушала. Друг-фельдшер цитировал тебя, мама цитировала тебя, я цитирую тебя:

Раз у меня нет больше Валерии, то назову Валерией.

Этой зимой

внезапно я встретилась с умиранием, и умирание оказалось делом увлекательным. Никак не отвертись: нелепо и страшно почувствовать это в двадцать один год. Зима длилась как раз со дня моего рождения, то есть с октября, и по февраль. За зиму незаметно истаяли куда-то семь, восемь, девять, или

около того, кило: была взвинчена многодневным ожиданием весны, беспросветом, экзаменами, — так душевно истощилась, что на ремне зубочисткой выкалывала новую прорамку. Уснуть толком не получалось, а если и выходило что цельнокроеное, то таким сном не спят, а забываются.

Так всю зиму и живешь, держишься на святом духе — дрянном кофе, в любой кофейне нальют с собой. В феврале, ну что, пинь-пинь-пинь-та-ра-рах? — тело и душа весну учуяли. А я на взводе, как револьвер. С узорчатой рукоятью из слоновой кости. Мой костяной остов, как двигаются суставы — маме не нравится этот хруст и этот остов, он для нее похож на останки дерева, изъеденного термитником. Думаю в метро, в толпе... Когда она была второй месяц беременна мною, то попала под автобус. «Как жаль, — сказала она на днях, — что не насмерть». В кремовом пальто, с льняными волосами — сокровище такое беречь надо да легонько за талию отводить подальше от края платформы. Лавировать, лавировать.

*

Собрала полную сумку: турку, кофейную пару, шмат сыра, шоколада плитку, книг и одежду на смену, — и в общежитие, где за мной числилась комната. Штор на окнах нет, в комнате холод — и теплее не станет, окно не закрывается — соседка раздолбала, постоянно высовываясь покурить. Так холодно, что постель влажная. Сдергиваю покрывало — под ним скелетики двухвосток.

Глухим вечером я ушла к благодетелю пишмаш — ремонтнику пишущих машин, журналисту и много чего еще. Миша подобрал меня на старом байке с люлькой и повез к себе отогреться, разговаривать всю ночь — чашек на пять кофе. От него ушла жена, и он не сознавался, но был рад моему двухвосткиному кладбищу. Одному дома тоскливо, и необходимость была выговориться. Но о своей червоточине он ревностно помалкивал, переключившись на меня.

— Только тонкая ниточка, — говорил, — которая у груши внутри, как будто кто грушу обгрыз. И глаза — большие, нормальные... нет, не нормальные, одни глаза. Так ничего и не останется. Никак не могу увидеть, когда же это случилось. Листаю, листаю — нет, давно. Не уживаетесь, да?.. И раньше не уживались?.. Нет, дело в чем-то другом. Ты тоже чувствуешь, как из этого мира утекает любовь?

— Ну, как сказать.

— Значит, ты меня поймешь, у меня все очень похоже, только молча. Когда-то это загнало меня в больницу на два года, а вот теперь я не могу иметь детей.

— А как это связано?

— Цепью: истощение нервной системы — ослабление лимфатической системы — раковое поражение — максимум месяца два до смерти — удача — лучевая болезнь — мертвая сперма.

А я и не знала, что когда-то рак почти одолел Мишу, почти.

В четыре утра мы пошли выгуливать Грету и Феникса. А совсем под рассвет благодетель пишмаш лег спать, а я осталась сидеть на кухне: читала Лорку и Мачадо, пила портвейн и ела сыр с мацой; встречала утро — как оно ярко распалало, как подстрекало птиц щебетать.

Наутро он пожарил мне яичницу на маленькой сковородочке для оладушек, и я поплелась обратно в Чертаново со своей поклажей. Приехала, а замок хитрым способом закрыт; так и ходила весь день — дурочка с турочкой.

После того дня стала каждые вечера уходить из и не возвращаться до закрытия метро.

*

С благодетелем пишмаш записывали стендапы в «Президент-отеле», где вручали премию «Фирма № 1». Многочисленные дочки Газпрома, нанотехнологии, локомотивные,

ремонтно-дорожные, мусороутилизация — и все в этом духе. Ведущей действия была престарелая дикторша голубых экранов, с тех времен сохранившая очки с синеватыми линзами. «Я вас еще черно-белой помню», — признавались ей. «Когда это было, — смеялась она, — в прошлом веке». Продолжали: «Не каждый день побудешь в компании таких успешных людей. Чего только один “Газпром” стоит!» По хохоту и аплодисментам, каламбур удался.

Начальник мусороутилизации в перерывах между интервью рассказывал, что дочерям работать не дает, не женское это дело. Мужа надо такого, чтобы рвал, как мамонт. Хвалился зятем, а по совместительству левой рукой в бизнесе. «Младшенькая моя, — говорил, — отучившись, уехала в Камбоджу, никак не могу ее оттуда вызвонить, не хочет возвращаться. Ну и ладно, я ей там джип купил, пусть хоть как человек ездит».

Закончили мы за полночь, благодетель пишмаш решил отвезти меня на своем байке до метро, мы нарочно долго петляли и нарезали круги, чтобы я проветрилась, все волосы были в сигаретном дыму.

Спéшив, Миша сказал мне серьезно:

— Я наблюдал. Ты весь вечер улыбалась и все такое. Шифруешься ты отменно.

Теперь уже пришла моя пора опешить: как только он догадался?

— Хочешь, — продолжил Миша, — приходи — пойдешь гончих выгуливать, часа на четыре.

Спустя несколько недель

просыпаюсь: солнце, щеглы в форточку залететь готовы, яростно щебечут, будто и не было вчерашнего. Будто не виделась вчера с отцом. Будто я им с мамой не устроила вчера очную ставку на чертановской кухне, при зеленом чае

с хризантемой — она все кружилась, распускаясь в стеклянном (плохом, не держит тепло) заварнике.

На Теплом стане — букет махровых тюльпанов, я их потом от лица отца переподарила маме; и итальянские сапоги.

— Примерила? Снимай, — говорит, — убирай в коробку. Мне сейчас вспомнилось, фраза одна... Когда-то услышал ее — был удивлен... Но только она сейчас и забылась, не могу вспомнить. У меня друг был хороший, травматолог. Ну как хороший, дурак он хороший, по сути. Вскрыл себе вены. Паховую артерию. Да, есть такая, правильнее назвать бедренная, но хорошо прощупывается именно в паху, пульсирует. Все хвастал, что с маху может ее перерезать, и перерезал. Но я не про это совсем... У тебя все хорошо?

— Все отлично.

— Правда?

— А что-то не так?

— Просто ты... Я давно хотел тебе сказать. Ты выглядишь... Что-то есть в тебе такое, веет от тебя, да как объяснить... Не объяснимо.

Он схватил меня за руку.

— Что это за рука, холодная! Это кровообращение такое слабое? И вообще, как шестнадцатилетняя девочка, как нимфетка. Помнишь, мы ходили на встречу с мэром? Меня потом мои коллеги спросили: сколько твоей дочери лет? Я солгал, что восемнадцать. А они — молодо выглядит.

— Тебя что-то смущает?

— У тебя точно все хорошо?

— Тебе мама, что ли, звонила?

— Да, — выдохнул он облегченно.

— Раз вы с ней против меня сплотились, может, заедешь к нам на чай?

— А куда?

— Чертаново.

— Да это же мой район!.. Я там на скорой четыре года работал. Я каждый проулок там знаю. А можно?

— Можно! — злорадствовала я, — очень даже можно!

Хотела тюльпанов? Стоят теперь на столе — желтые, махровые, отцовские. В кастрюльке, потому что ваз у нас нет, цветы не водятся на нашей кухне. Мама сидит молча, глубоко заправив недовольство. Все, что она сказала отцу, — это «здравствуй» и «спасибо».

— Интересные, да? — задумчиво тянет отец, разглядывая цветы.

— Угу, края махровые.

— Такие, как будто съесть готовы, — и после минутного молчания... — Сделала медкнижку?

— Нет, — отвечаю.

Они при мне молчали, я сделала вид, что мне звонят, и отошла подслушать, о чем они будут говорить. Они все равно молчали, тогда я стала подсматривать: может, у них взгляды такие, что и слов не нужно, — я онемела... Они и не смотрели друг на друга, делали это долбанных пять минут. И даже не подрались.

8 марта

утром набирала номер и спрашивала у благодетеля пишмаш, могу ли приехать. «Приезжай, — отвечал весело, — судя по твоему голосу, шею намылю и кофе налью».

У Миши в гостях сидела на подоконнике, болтала ногами, его слушала вполуха (он осмелился говорить о своей ушедшей жене) и чуть было сама не ушла. Миша ел дегидрированную вермишель. Все один теперь — мыть, стирать, готовить — хотя бы чудеса химической промышленности заваривать. Уже хорошо, не умирает от голода и страданий. Жену он заботливо собрал к белорусскому любовнику. Нашел чек из магазина рабочих товаров, сходил и выведаль — покупала бечевку; все

понятно. Ее любовник тоже мастер, но в БДСМ-искусстве. Миша потом обнаружил эту бечевку в ее походном рюкзаке, помыл, продезинфицировал. «Она ведь дура, а то прям так и станет: давай, скручивай, покрепче давай, не бойся. Завязал по-мужски хитрым узлом — салют белорусу, пусть развяжет, — закинул обратно в рюкзак». Вот как, — меня осенило, — он ее... Поразительно, у кого-то ведь так бывает.

— Все будет, — вдруг сказал он, — не болтай чепуху и не болтай ногами.

Несколько часов назад

набираю его номер. Поздравить с праздником, сегодня же восьмое марта: с днем рождения, папа. Это где-то на Лубянке — присела, думала, ненадолго, а оказалось надолго, минут на десять.

Птичье пение. Капель. Вербные торгаши. Внутреннее кипение.

Он рассказывает о том, как зимовал. Как я зимовала. Ладно, говорит, все у тебя хорошо. А у него не очень, глобальные проблемы. Плохие пеноблоки привезли, плитка на два тона оказалась темнее, на культиватор пришлось разориться, ездил за ним на своем джипе. (Разве у тебя не «тойота»?.. Почему-то так думала). Машину надо бы на техосмотр свозить. И заняться приусадебным участком, март — скоро придет пора. (Ты еще и газонокосилку купи, будешь английский газон подстригать.) Но газонокосилка, говорит, уже есть. В общем, приезжай, говорит. Будем штукатурить. Я обещаю: когда-нибудь.

Совсем к концу разговора отваживаюсь...

— Давно хотела тебя спросить... А как зовут твою дочь, пап?..

— Виктория, — ответил он.

И не разберешь — стало ли мне грустно или полегчало от того, что он не назвал мое имя.

МОСКОВСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

1

Команды «голос» пока не поступало. Вас пока не включили больнично-сердобольные, ватрушками пахнущие, с повидлом; кино временно немое. Шлепнут пару раз по сморщенной заднице — ну же, голос! — тогда можно, нет, даже нужно, жизненно необходимо.

А моя мама и после пяти шлепков молчала, вниз вися синей-пресиней головой, как засушенный морской конек. Акушерочная рука хоть и мягкая, ватрушечная, но ладонь ее крепка, и на шестой — мама разголосилась, голос прорезался; и мир — как тронутый колокол — наполнился.

Через двадцать лет — песни «Комбинации», колготки в малиновый перекрашивает, фильмы с кассеты на кассету и в ГДР медсестрой наполовину чемодана собралась. Завербовали — она это так называет. А может, обширнее — проникли в тебя, как железное щупальце узистского агрегата, вытрясли: рост-вес, объемы, семейные судимости. По всем параметрам ее одобрили, но на вторую половину чемодана не хватило ГДР. В местной больнице в том же году встретилась она с моим будущим отцом, меняя кому-то затопленное судно.

2

Она весь день не могла успокоиться.

Утром я вернулась на поезде из дома — на экзамен или, как она догадалась, все-таки на кинофестиваль. «Зря съездила, — сказала она на перроне, — надо было бабушке чашек купить или чайный сервиз, и отвезти надо было, или не ездить совсем, или не возвращаться. На два дня — зачем тебе это? Все по-своему».

Всю весну я обещала: как только зацветет сирень (нужен какой-то повод, чтобы вернуться домой), ненадолго до экзаменов,

тогда и приеду. Всю весну прибегала к этой мысли. Дом там был в цветущих сиренях, теплый, нежный, с открытыми пирогами — не люблю их — на засахаренных противнях, вечерние прогулки еще длились, троллейбусы № 7–8 катили полным ходом; запах костров, бабушкин смех, желтые безымянные цветы на клумбе. Короткометражка, сконструированная из эпизодов разных лет — неосуществимая. Я знаю, что память настаивается на желтых ноготках, — да, так называются эти цветы, — и горькой выходит эта настойка. Думала, она меня вылечит.

Сирень, как только зацветет, писала Маше, — скажи. Бабушка не скажет. Сирень, как написала Маша, проворонили. Ждали, что приеду, когда зацветет жасмин; дождались только к липе, когда стало лето. Нестерпимое в одной квартире (а были времена, жили с мамой в одной палате): был четырнадцатый этаж и заламывание обессиленных рук. Уехать было необходимо, оставить в Москве места своего присутствия. Но вернешься домой, одернешь покров — что там, кроме запыленных стульев и галереи портретов семейного фотоальбома...

Мама в плюшевом пальтишке, стоящая посреди лужи, уронила леденчик, а через секунду — знаю из их рассказов — навзрыд. Мама со стекловатым наэлектризованным начесом, со стрелками на бесстыжих глазах. Мама в Дрездене, тоже в пальто, в драповом коричневом, ей здесь, как и мне, двадцать лет. Мама — в нарядном платье, на руках у нее кулек спеленатый, заткнутый соской.

Через мое плечо бабушка посмотрит в фотоальбом, скажет:
— Ты на себя перестала быть похожей.

Я знаю, о чем она, что сердце мое бьется в предсердном, а не синусовом ритме, установили этой весной; стоит ему запнуться — и не найдет сил идти дальше, остановится. Оказалось, так мало нужно, чтобы жить, — одно лишь усилие, если его нет, то выпадаешь из реальности лазурным осадком медного купороса.

— По международной классификации, — говорили врачи, — у вас недобор веса, может, поэтому сердце так. Вам нужно есть. Если, конечно, хотите быть.

Мне вспомнилась история моего появления на свет... В материнском притоне было ничего так, прилично. Трехметровым питоном обвивала шейку материнская пуповина — какой голос мог прорезаться после такого?.. Хотелось ли мне жить? Все, что оказалось необходимым, — отшлепать посильнее.

*

В моей сумке кошелек, помада, студенческий, презервативы на случай покупки рыбок, нож — на всякий случай. Из меня только потрошительница сдобных улиток, взялась за них: изюм съесть, а сдобу — в мусорку. Пекарный удушливый воздух в аудитории, где сдавать экзамен; вспоминается жара южного пригорода — и как мама выковыривала ножницами улиток из раковин, видите ли, на память о море увезет, нельзя оставлять внутри, поэтому ножницами их, ножницами. «Мамочка, пожалуйста». — «Не трогай». — «Мамочка, пожалуйста, оставь». — «Ничего не понимаешь, что с собой привезем?.. А это будут поделки своими руками».

Обратно в купе вдвоем, на щеколду закрылись — рады, мешок панцирей закинули на третью полку, наружу высовываемся ночью на стоянках. Витрины вокзальные разглядываю. Вижу там ряды разноцветных квадратов. Уезжая с моря, я уже знала, что это, береговые детки нашептали; не уберегли их родители, на то и юг, скороспел. «Пузыри на случай покупки рыбок, — сказала она, поймав мой взгляд. — купишь, а как же нести их домой?»

Мне вспоминался вчерашний хлеб. (Ответ на билет экзамена не вспоминался.) Хлеб, который бабушка испекла, мушник. Крепкого жару ему досталось: бабушка как достанет его из духовки, руку под струю воды — и как похлопает по румяным

бокам своей холодной ладонью, а от него пар подымается. Потом за столом она рассказывала, что в деревне мушник ели только так, за ушами сверкало. С ледяным молоком из погреба, а мушник горячий, ноздрястый, во рту рассыпается. Давай и ты скорее, пока не остыл, отламывай горбушку. А то — ой какая, ой запястья какие, и дорожку какую себе выбрала, под откос, тяжелая деятельность, сердце навывнос. Я все говорила себе — не слушай, терпи, молчи. Но не выдержала; и со стыда съела всю румяную хлебную шапку, отрезала по ломтю, запивая жирным молоком; хотелось удавиться.

Экзамен провален. Четыре плюс-минус-бесконечность часа хождения по центру города, чтобы понять, что пошло не так. All you need is coffein — надпись на стене забегаловки. На трамвайной остановке думала о том, что рельсовый гром почему-то один из самых честных звуков, правда, сердце иногда замирает — особенно если июнь, то что-то пугающее, неоправданно громоздкое есть в приближающемся трамвае. Запустится ли вновь?.. Клонящееся к закату солнце припекало, как только перед ливнем. Вернувшись со смены мама скажет: «О кино, наверное, думала?» Вечером, когда дождь разродится, кинофестиваль откроется и без нее, и без меня.

Ливень уютно забаррикадировал журналистов в пресс-центре. У входа в него сгрудились изуродованные зонтики — импровизированное зонтичное кладбище. Все напряжение у кинотеатра, бывшей «России». Ковровая дорожка там разлапистыми губами: «Поглочу».

3

Купили двух блеклых карамелек, несли их в целлофановом пакете, я пошутила — а почему не в презервативе? Маша не поняла и сделала вид, что не расслышала. Мы торопились, чтобы эта ее новая неоновая парочка не сварилась на солнцепеке. Они должны были пожить хотя бы годик-другой, в аквариуме, безымянные.

— А где был кинотеатр «Октябрь»? — вдруг спросила я. — Не у тебя ли в доме, на первом этаже?

— В моем доме «Меркурий» и «Оптика» были.

— И «Спектр»! Цветные телевизоры. Помнишь?

— Точно, были. А чего интересуешься?

— Меня пригласили на кинофестиваль, писать о документалках.

Вспоминаю неслыханное: звонок, неопознанный номер, незнакомый голос, маленький молниеносный разряд, как удар хлыстиком по крупу.

— Одно агентство пригласило, — продолжаю. — Они собираются составлять реестр достоверности. А что такое «достоверность»? И что такое «память»? Если ни я, ни ты не помним, что в наших домах раньше было, вроде какие-то десять лет назад.

Тогда, или задолго до того, решила агентство докино не слушать и ходить на те фильмы, что хотелось увидеть. Игровые, преимущественно, но были среди них и документальные. Про активистов RAF, например. Так и назывался — «Молодежь Германии». Раф? — конечно, сперва у меня включилось: кофейный напиток, изобретенный у нас, в России, что же еще. И только потом — Rote Armee Fraktion — в честь Красной Армии, изобретенной, конечно, у нас.

4

За время кинофестиваля привыкаешь к темноте. К раф-кофе в кафе, что раскинуло свои сети, русалка на его эмблеме много журналистов увела на дно. Без кофе нельзя, уснешь, но с кофе... что-то в этом девиантное, на территории «Октября» — с его синим светом, делающим из тебя синефила, — попускаемое.

— Девушка, где же вы были, — говорит мне старый журналист, — кино, что ли, смотрели? Раньше смотрел по шесть фильмов в день и по шесть чашек кофе выпивал, сейчас уже так не могу.

Жизнь без права на перерыв, без права на перемотку. Может, поэтому мне важно было вставать до рассвета, чтобы успеть до солнца, чтобы перехитрить день.

Не проснуться до рассвета — это упустить что-то важное. Только в это время, ненадолго, замолкают машины, тогда птицы громче всего. В самые темные и глухие часы поют по крещендо, как по лестнице поднимаются.

Добрый вечер! —

писали в это время из агентства доккино.

Завтра утром надо пересечься, чтобы Вы передали мне бейдж. Дело в том, что только по нему можно получить билеты на основную программу. А у нас имеющих бейдж корров всего три, при этом все три не могут ходить на показы все три раза в день и делать материалы. Возьму на Ваш бейдж билеты другим авторам. Я в 10:00 буду на «Павелецкой». В 11:30 у «Октября». Сможете подъехать в это время?

Ровно через три часа, как заведенная: ну что, завтрашнее утро — пересечься и аккредитацию отдать? — да-да, конечно. И что тогда у меня будет? Выйду на улицу, вопрос переформулирую: а что тогда у меня останется?..

От солнца отвыкла, оно слишком слепит. Липовый аромат, еще черемуховый вкрадывается, не успела запечатлеть черемуховое кружево — всего один или два дня — кружево осыпалось; невелика потеря. И ни одной написанной статьи о фестивале. Как под зонтом от дождя уваливаю, лишь бы не писать статьи, но дни проводить в кинозалах. В редких просветах между — утром семь минут от квартиры до метро, среди которых шесть секунд бежать на красный свет (обычно, на обратном пути безвременье, когда оранжевый) — так вот, в тех редких просветах

между кинозалами я наблюдала за людьми. Как мармеладных лебедушек и бутылъ «Жигулевского», подвеза к кассе в полупустой тележке, покупал старик. С коробками пирогов бежал по эскалатору курьер, и с ним же я на красный. Увидела: бежит, значит, и мне надо ускориться и успеть проскочить. Почему бежала я — торопилась жить или умирать?..

Не поехала на «Павелецкую», не пришла к «Октябрю», бейдж не отдала.

5

«Красное солнце» Томе, только так остается солнце увидеть. В конце фильма оно над нами животворно восходит. Но все убиты: главные герои как бы невзначай учинили не на жизнь, а на смерть перестрелку; безнадежная она у них вышла: женщина с мужчиной, — между собой и против естества. Как это странно!.. Это то же самое, что в легком ситце встать на закате против солнца, — такая вот жизненная позиция, контражур, — встать силуэтом девичьим — манящим, наливным и абсолютно черным — так может показаться на первый взгляд; невозможно — это вам любой художник скажет, — будучи против света, быть абсолютно черным. Скорее всего, силуэт будет густо-красен; да, я помню то сияние оттенка на просвет. И помню, как горячий летний ветер лапает тебя, загорелую, под платьем. Я и сама стояла против солнца, я была против него.

— Вот видишь, — только и сказала мама, когда мы вышли из «Иллюзиона».

Но я ничего перед собой не видела, кроме изгибов Яузской, мы поднимались в гору; и редкие озарения в тминовой темноте вспыхивали; я доставала ручку и накапывала что-то прямо по запыстью. Она вытащила из сумочки пакет черных черешен и предложила прогуляться, не идти сразу в метро.

Я позвала ее с собой на этот показ, чтобы нам сблизиться, и она согласилась. Когда уже выходить из квартиры,

прихорашивались у трюмо — мать и дочь — в шести отражениях по зеркальным створкам, я затагнула со слабой надеждой, что споемся:

— Ты исчезнешь на рассвете.

— Наигравшись с темнотой, — подхватила она.

— Слова не помню дальше. Помню — мне тебя так не хватает в безнадежности дождя.

На Яузской она вспоминала Дрезден, хотя из всего Дрездена только что «Сикстинская Мадонна», пожалуй, так глубоко в нее впала; может, потому что дольше всего молчали они возле нее, остальное скороговоркой и галопом. Так и вижу: Мадонна благословляет цвет саранского комсомола, моя Любовь — так ее зовут, в коричневом драповом пальто стоит спиной ко всем, лицом к Мадонне.

И все равно мы разошлись и повздорили, я сказала ей что-то грубое. Она разозлилась, конечно. Посоветовала...

— Снять фильм, что родители, — я удивилась, — оказываются во чреве своих взрослых детей. И что же вы там будете делать?

— Раз мы вас рожаем, значит, в вас — будем умирать.

Я остановилась под деревом, сень опустилась, глашатая. Пораженная, вдыхаю липу: крепко же заварена, вот это аромат; все бы в этом мире было такой липой.

— Ты чего? — спросила она уже спокойно.

— Наши матери и отцы, — произношу медленно, — умирают в нас. А что, можно и фильм. Научно-фантастический. Или аллегорическую притчу. Или...

— Пойдем, — говорит. — Метро закроется. Возьми меня под руку, тут плохо видно.

— И все-таки, твою ж мать, это фантастика!..

Так мы и держались за руки вплоть до метро. Спускаться под землю не хотелось, но я отказалась ехать на круглосуточном трамвае. Еще недавно — «я на учебе», врала я ей по телефону и взмаливалась: лишь бы рельсы потише гремели, лишь бы этот

самый честный звук не выдал меня. Она чужла немецкой овчаркой, ее датчики работали на полную мощь; она предугадывала мою очередную влюбленность и ревновала; и как она ненавидела трамваи, будто некий греховный агрегат. Наверное, только сейчас я понимаю, что она задавала себе вопрос: а что тогда у меня останется?..

Она больно сжала мое запястье, и я руку отдернула.

— Пульс смотрю, вообще не бьется.

Если так будет продолжаться, я же умру — а вот и скорая, какая быстрая. Дверь в подъезд открыта — и черный пакет выносят: что делать — подождать и пусть загрузят или обойти? Это наш сосед. Гребаная витальность: завитые кудри, ММКФ'37, мать и дочь за полночь, черешневые косточки в крафт-пакете — а он опущен на асфальт, и что ему до наших кудряшек, фестивалей, косточек.

6

— Ну... — замешкалась она, как пустой целлофановый пакет из-под шприцев, такая же семантическая наполненность. — Для чего жить? Как все говорят?.. Дерево посадить, как там дальше?..

— Я спрашиваю у тебя, а не «как все говорят».

— У меня как у всех. А ты... Только смотришь на все. А глаза стеклянные и неживые. Все не как у людей. Всем хлеб нужен сегодняшний, а тебе вчерашний подавай.

Часу в четвертом проснулась, испугавшись: резко побелело; ливень снова начался, от ливня же не небо побелело, а все кругом, и как по заповедям цветомузыки стало озаряться.

Не хлебом единым жив человек.

Проснулась и написала на стене чужой, съемной квартиры, на кухне. Крапово-алой краской, разведенной в чашке; излитая противифаза. Когда она проснулась, увидела эту надпись,

то пришла, без стука и спроса, в мою комнату, взяла меня за руку своей горячей рукой и вывела из себя.

— Нет, даже не вчерашний, — говорю. — Мне нужен хлеб завтрашний. Боже мой, как ты не можешь понять, мне нужен хлеб завтрашний!

— Выходи на Красную площадь, — говорит она тихо и зло. — И кричи ему оттуда. А я сейчас все выброшу, никто в этой квартире больше есть не будет. Клянусь, будем умирать! Незачем жить — зачем страдать. Чем раньше умрем, тем ведь лучше?..

Сколько их было — я не успела посчитать, — штук пять, черных пакетов под завязку, громом по мусоропроводу.

— Через сколько, — спрашивает меня с вызовом, — умирают без еды, через три дня?

Я нарочно задержалась на пару секунд, чтобы посмотреть на ее растерянное лицо:

— Активист RAF'a умер на пятьдесят шестой. Начинай отсчет.

Я сказала «активист», пусть как в школе — активист; радио-активист; радикал свободный и радикал за решеткой — в двух своих агрегатных состояниях. Они много чего делали. Против класса буржуазии, говорили они в четырех своих поколениях. Фальш-беременностью позднего срока прикрывали бомбы девы из RAF'a, несли во чреве тротильную смерть. Тех, кого поймали, посадили, но ненадолго, пожизненное их заключение продлилось года по два. Они объявляли голодовки.

И мы теперь с ней, получается, объявили голодовки. Напергонки.

*

Той весной мы пытались приблизиться друг к другу. Была некая Анжела — как маму переклинило, когда та представилась. Семейный психолог. Дилетантка, начитавшаяся научно-популярных книжек и возомнившая себя врачомателем душ, я раскусила ее в два, да что там, в один счет. Правда, она верно

подметила запекшуюся обиду мамы на отца: он их сокровенное с Анжелами растрчивал.

Доброе утро! —

спешила мама написать после встречи с психологом.

Перечитай, пожалуйста, вчерашнюю прессу, которую я оставила, и подумай. И не ориентируйся на позавчерашнего психолога (оказывается, у нее нет образования, и ты это поняла, как и я). Меня ввели в заблуждение, расписали ее с хорошей стороны и бесплатно.

— Что бы вы изменили в своей жизни, — спрашивала ее Анжела. — Если бы могли вернуться?

— Не вышла бы за него, — отвечала мама.

— Но тогда у вас не было бы этой дочери.

«Да, пусть так», — читалось в ее глазах, — но вслух:

— Была бы от другого.

— Ага, — кивнула Анжела, — и другая.

7

На следующее утро, после дня кино и ночи не дома, — возвращаюсь в квартиру и вижу дымящуюся на плите яичницу — с беконом, с помидорами и консервированной фасолью. Открываю холодильник, надеясь увидеть его ледяное и пустое нутро и одни только железные ребра, но нет — там еда, новая, только из супермаркета.

— Ты даже слово свое — говорю ей, — не держишь.

— Я умирать не собираюсь, я передумала.

— Когда соберешься, — говорю обессиленно, — тогда и разбуди.

Ухожу в комнату за гибернацией, надеясь на ее необратимость. Мне показалось в тот момент, что все кругом поддельная беременность. Мне показалось, что меня на самом-то деле

зачали в не состоявшейся для моей мамы ГДР. Что я живу в точке, где Германия еще не объединилась, а Югославия и СССР не распались; живу в точке до своего появления на свет. Слабенькими ручками отрешиваюсь от того, что будет. Потому что — мне и это показалось в тот момент — второе пришествие уже состоялось в наше время, все так же непорочным зачатием — и новая дева на ранних сроках сделала аборт.

*

Все время, что наедине с собой в родном городе — в троллейбусе 7–8, или в ванной комнате, или же со всеми — за ужином, отводя взгляд от общего стола... Ассоциация за ассоциацией — и слова не вымолвишь. В ванне лежишь, а на улице ветер — и трубы завывают — к чему в июне вьюга?.. И бурлящий, живущий своей жизнью холодильник. Его и так полупустое нутро манит: открой, поглоти, сделай себе больно, а потом все обратно.

А на улице прекрасная последовательность цветения: сирень, жасмин, липа — больше ждать нечего.

Надежда была в то мгновение, когда в соборе задернули красной шторкой царские врата, я обернулась, а рядом бабушка стоит — купила в местном магазине куриных головушек для котят — и зашла ко мне, за мной. Это было после мушника, но она — я это отметила — не держала обиду.

8

— Завтрак в девять, — говорит мама, губкой смывая алую краску со стены. — Будешь вставать и встречать рассветы, как ты любишь.

— Рассвет в четыре, встретить его — две минуты. Зачем этот санаторий?

— Мы как лучше хотим... Почему мы так плохо живем, а? Неужели я обидела тебя чем?.. Делить нам нечего, соперничать не за кого.

— Может, все-таки есть за что соперничать?

Она помолчала, а потом, как бы не замечая:

— Животные умнее нас. Пятикопеечная черепашка рождается — и бегом-кубарем к воде за тысячу километров, чувствует. А кошки, если посмотреть, на улице развлекаются, балдеют, а как они с бабочками играют! Резвятся, прыгают. Все хотят счастья. Друг с другом пообщаются, подерутся — и на солнышке лежат, свернувшись. Я тоже домой приеду, когда отпуск будет. Фамилию поменяю.

— Зачем?

— Не хочу когда-нибудь, потом... под чужой умирать. Под фамилией твоего отца.

— Ты что, умирать собираешься?

— А как же.

9

«Транс-Класс-Компаниясь-сервис, Москоу — Саран-ош, пшшш», — будто палец к губам, шипение по динамикам отбывающего поезда. Любовь пробивается ко мне своим взглядом через толстое стекло, взгляд ее суров, а глаза неизменно зеленые, растерянные, добрые.

Гремят тележки с металлическими гробиками — горячий ужин в купе, на выбор, как представляют проводницы: есть макаронные бантики со свиной, а есть чахохбили с рисом и припущенными овощами. А есть, — думаю, — совсем не есть. Но только тогда по динамикам должно пойти, что пассажир № <такой-то> выражает протест против всего камерного поездного бытия. Вот эта маленькая дошкольница напротив меня от гробика своего отказывается.

— Съешь курочку нежную, маленькую, ко-ко-ко, ну, только кусочек, честно-честно.

— Ма, — отвечает она сердито, — ма, у тебя каждое второе слово честное.

- Нууу съешь...
- А сами курочки что едят, ма?
- Они много чего клевать любят.
- Много чего любят, но людей — точно нет.

Откидываю крышку своего контейнера и вижу адрес производства чахохбили — Москва, улица Фестивальная, дом 28, помещение V, комната 1. А на нашей Фестивальной улице — тоска мгновенно взяла в плен и одолела — производство остановлено, свет экранов погас, на окно до упора опустили шторку, можно показывать кино.

Видю, как утром, собираясь на работу, мама стоит у трюмо в коричневой кофточке — спиной ко мне, лицом к зеркалу. Тогда я подхожу к ней и обнимаю ее со спины.

НИКОЛЯ

Рассказ

— Я приду на двадцать второе, на Николая Угодника. Даст бог — приду, как сегодня, в субботу.

Сегодня двадцатое мая — среда, — подумала я и дальше: ах, Никола-Николя, ни кола ни двора, ни любви ни крем-брюле и ни капли надежды. А скоро день памяти твоей. Эти старушки зашли в трамвай у Данилова монастыря, я ни одной места не уступила, еще подерутся; у меня на руках Камю — и все, что свершается у Камю, происходит одновременно с их беседами после службы. Та, что дни-недели перепутала, — или это я ничего не соображаю, места не уступаю, — та, что с яблочным румянцем, стара, а все работает. Диспетчица в МГУ, ночами оттарабанивает свои смены — молодится.

— Я ведь не выгляжу усталой?

— Нет, нет.

— А румянец — это у меня он такой от болезни.

— Вам даже идет.

Ее неестественный румянец — а меня не проведешь, я отличаю, — это размазанная по щекам помада. Да, он ее молодит. Меня же румянец, должно быть, старит. Если станут возмущаться, почему не встаю — а у меня нет сил, — скажу, что жду ребенка. Старушки едут долго — а знают ли они, что я от конечной до конечной? — и выходят на Нижних Котлах. Духота. Воды бы, но в сумке только козинаки, душно на душе, козинаково. Следующая остановка — Фруктовая улица. Трамвайное депо имени Апакова приглашает на постоянную работу

водителя трамвая и помощника водителя трамвая... Фруктовая улица. Следующая... Прохлада взметнулась в салон. Гавань в Ментоне. Яхты. Виноград. Старушля с яблочными щечками выходит на конечной. Диспетчерница при МГУ, ботсад Биофака. Работники в виноградниках. Мы все, кто до конечной. Следом за мной по Балаклавскому проспекту. Крым. Затопленное общежитие, цветы под дверь не просунула. Мамино кремовое платье с расшитым цветами верхом. Белая машина за мной по Ялте. Всхлип касатки. Предощущение. Она следом за мной, старушля, ну, надо же, живет в одном со мной доме. Ну, надо же, на одном со мной этаже. Ну, надо же, отпирает дверь моей квартиры; не моей — это ее дом, это она хозяйка квартиры, двуспальной кровати, на которой я сплю одна. Спрячусь под цветочное покрывало, забьюсь в простынях — вот и пришла.

ВИНИЛ

Рассказ

Помню тот день, когда дедушка повесился. Как солнце беспардонно ломилось в окна; а вот время года не помню — зима, наверное, морозы лютые. Двухлетняя, сидела я на ковре посреди гостиной и пыталась натянуть кукле русалочий хвост, что был в комплекте с остальным кукольным приданым: пластмассовым домиком, коляской для еще не родившихся таких же пластмассовых детей, зомбоящиком (куда же без него безмозглой барби), парой платьев, — и вот зачем-то русалочьим хвостом. Хвост все не натягивался, и я от усердия переломала кукле ноги. Ну и влетит же, — чувствовала на своем вялом языке, потому что на языке начинаешь чувствовать, а потом уже говорить. Тогда-то в прихожей противно затрещал вишневый аппарат, и бабушка подошла ответить. Она долго молчала, а потом переспросила: повесился? — и, не дожидаясь ответа, положила трубку. Вот и все, больше ничего не помню.

Который час не могу уснуть и, как прежде, словно на велосипеде, нарезаю вокруг своей памяти — если заехать внутрь, то хорошо спрятанные воспоминания умучают. Поэтому кружиться, кружиться; виниловым блинчиком грампластинок; прошлой ночью вспомнилось и удивило: на уроках музыки нам ставили винил. И это в кассетные времена полуцифровых дваноль-ноль-ноль!.. Как это было — в стенах бетонного учебного каземата слушать винил: пластинки старые — скворчали и шипели, как картошка в кипящем масле, — и оттого звуки становились совсем уж нездешними, как с того света.

Как-то крутили винил, а на улице загремел оркестр... В те полудиффовые времена на похороны еще пока заказывали живую музыку — чтобы плелся в процессии духовой и что есть духу в медные трубы дул. И гвоздиками на земле этот путь пометать. Нас, детей, всегда одергивали: следом идти нельзя, переходите на другую сторону, — а мне думалось: не все ли равно, если две стороны одной улицы параллельны?

И вот, когда на улице литавры ударили покрепче, тогда учительница остановила пластинку, открыла окно и сказала: слушайте, это Шопен.

В школьном хоре я пела контральто, имея меццо-сопрано. Альтов не хватало, и на прослушивании меня спросили: может, дотянешь до низа? — я что-то пискнула — и, как оказалось, дотянула. С тех, может быть, пор я какая-то сама не своя.

День, когда я впервые решила умереть, я совсем не помню — выветрился. После школьной линейки это было; девочкой я терпеть не могла всю эту муштру (терпеть и сейчас не могу, но ведь как-то терплю); пришла домой и хлестанула таблеток из пузырька. В то время я, или та девочка, уже бросила хор — на распевки забирали с алгебры, а алгебру лихо радило по четвертям: четыре — пять — четыре — пять, — все равно выходила четверка. Когда на линейке девочке дали похвальный лист, за спиной заскрежетало. Ничего этого она не слышала; но то неизъяснимое чувство, впервые озарившее — или омрачившее, — чувство полной фейковости всего происходящего, всего-всего, подчистую — слышу, чую, чувствую до сих пор.

Не совестно ли ни за что похвальные листы получать? — неделю спустя спрашивала одна из хора, мысли ее просвечивали насквозь: как только земля таких носит? Не знаю, милая; гравитация, наверное. Всех гвоздем распинает к земле — выше подняться не дает. Кто знал, милая, что упаковка одна, а таблетки другие? Додумались после дедушки пересыпать. Тогда

девочка узнала, что от валерьянки, оказывается, не умирают и, к сожалению, не успокаиваются.

Такой же, как эта, бессонной ночью: друг через друга, подруга через подругу — круг сужался, и все мы оказывались лицом к лицу. Вижу: знакомое, а лицо не знакомо. Не сразу догадалась, что пластический хирург заострил ей нос и губы сделал пухлыми, будто пчелами кусанными. На ее кукольной страничке бойфренд и накрашенные шеллаком девичьи ногти, тут же публичная переписка, что-то в духе...

(Имярек), почитай, что в энциклопедии нашла.

«Шеллак — природная смола, экскретируемая самками насекомых-червецов... Используется для изготовления лаков, финишных покрытий акустических гитар, скрипок. До изобретения винила шеллак использовался для производства грампластинок. Шеллак съедобен. Маркировка — пищевая добавка E-904. Используется в качестве глазури для покрытия таблеток, конфет».

Ха-ха, будет война — съем свои ногти.

В голове все крутится; становится ясным, что спасительным сном не укрыться. Ночь ведь, она для слабаков — кто сейчас ночью спит, только слабаки. Кто сейчас вообще спит. Кто сейчас вообще живет. Мне так о многом нужно спросить дедушку, только некого.

Как он смотрел на все — интересно, и как видел? — он был дальтоником, к тому же художником-оформителем, плакатчиком. Надо было на девятиэтажку плакат — он рисовал эскиз, разбивал его на квадраты. Увеличенные квадраты делили между участниками художественной артели, каждый перерисовывал свое. Собирали вместе — линии не сходились. Дедушка брал карандаш и правил. Он чувствовал линию. Он вообще был чувствительным.

Нет, все-таки не было у моей барби никакого домика, были только тряпки, хвосты. Только и был еще зомбоящик: включаю

свой, пусть побормочет и усыпит. Сквозь сон я узнаю много об этом мире. В Израиле — или, наоборот, в секторе Газа — стали оповещать о ракетных ударах СМС-сообщениями. И что они в них пишут — сейчас на ваш дом упадет ракета?.. А вы в постели, в пижаме, на каком-нибудь шестом этаже, у вас есть время выпить коньяку и закусить ногтями или помолиться... или сделать и то, и другое; а через минуту она падает.

АТОМНЫЙ ГОРОД

Рассказ

Входит солнце в янтарь заката,
словно косточка в абрикос.

Гарсия Лорка
/перевод А. Гелескула/

«Тебе понравится, — шепотом сказала мне Брик, когда мы были на пути к Радужному, — это просто дух захватывает!» И вот оно: в предночной час я вижу, что в небе над их поселком разливается абрикосовое свечение, а там, где Казань, все по-ночному — привычного черного цвета. Мир как бы раскололся на две части.

Этот поселок городского типа строили для молодых семей, для сирот — строили и раздавали радужные надежды. Моя Брик, оставшись без родителей, оказалась среди этих людей, и сейчас, сидя рядом со мной, заметно волновалась. «Ну что, понравилось?» — светились ее глаза. Я молча смотрела на оранжевое небо, и оно было восхитительно.

Утром, сразу с поезда, в жгучий мороз она повезла меня на лекцию в патологоанатомический корпус РКБ. Меня облачили в белый халатик и выдали новое имя — Лейла, ночь, с арабского. Под этим томным именем, принадлежащим прогуливающей студентке, я сидела в поточной аудитории и тихо разговаривала с моей Лилей, подругой всего большого, но непродолжительного детства, так внезапно и так давно уехавшей в Казань. Сколько же мы не виделись, лет десять? Теперь у нее врачебные практики, интерны, докторантура, а вечером — ее

маленькая однокомнатная квартирка в Атомном городе, как она прозвала Радужный.

После лекции, не торопясь в морг, ко мне сбегались студенты-медики и окружили так, что стало страшно. «Это Лейла», — коротко сказала Брик. «Новая Лейла? — усмехнулись будущие врачи. — Перевелась из Пироговки, что ли?»

Брик познакомила меня со своим молодым человеком, самым черноволосым и бойким среди прочих, его звали Рифат, или Равиль, или Рамиль — в шуме голосов я не расслышала. Помню только, как Рифат, или как его, рассказывал... «У нас в группе зама старосты переизбрали на пост старосты, а потом наоборот. Ничего не напоминает?» Я кивала, конечно, напоминает, а Брик уже уводила меня в морг.

«Слушай, Брик! — весело кричали нам вслед. — Говорят, есть возможность выбить практику в Европу, по той программе, поедешь? Сначала развеемся. А потом осядем потихонечку».

В прах разбитые и уставшие, мы оседаем после лекций всего лишь напротив кожвендиспансера — в антикафе, где платят за время. Напиваемся крепким кофе и играем в мафию: и каждый уверяет, что он мирный житель, и солнце закатывается несколько раз за полчаса — все закрывают глаза, а мафия просыпается. Брик не играет, она — ведущая, она раздает карты, она наблюдает.

— Это все — мое! Вода тут, конечно, паршивая — известь, но сладкая какая! — говорит она через пару часов посреди тесной кухни Атомного города.

Список мебели невелик. Старый диван с продавленной пружиной, который, как она уже успела рассказать на лекции, ей отдала преподавательница гинекологии. Складной стол из «Икеи». Два разномастных табурета. Вот, пожалуй, и все. На подоконнике лежит кальян желтого стекла. А за окном — я все не могу поверить — второй час ночи, и это их небо; проходят минуты, на кальянном стекле зарождаются всполохи,

будто там, внутри, без нашего ведома поджигают фитилек, — это за десять километров от нас на кончиках длинных труб вспыхивают и тлеют огни — начинают гореть отходы «Оргсинтеза». Рядом с заводом стройной полосой по земле стелются прожекторы теплиц, уходит в небо высокий слепящий столб — еще один завод, пороховой.

Брик смотрит на этот пейзаж и говорит устало и умиротворенно:

— Сколько бюрократии, кто бы знал... Но теперь я дома.

Ее выбеленные волосы на фоне окна становятся желтоватыми. Все это красиво и жутко. «Лиля, девочка моя, — думаю я, — куда же это мы, а?.. Куда же это мы, скажи мне?»

— Все, уже поздно, — говорит она, и я не сразу понимаю, о чем речь. Смотрю на нее: стоит довольная, сияющая, как ее небо.

— Пойдем-ка, Лейла, спать. Завтра в психушку. Если повезет — будет шизофрения, это интересно.

М., 23 года.

— *Мать сказала... Ты не как все, значит, тебя надо в дурдом. Да, я мыслю не как все, я просто учил американские ноты. Они меня раздолбали. Я хожу к девушке по субботам и воскресеньям, а еще я пригласил Светлану Олеговну в гости, пока матери не будет дома. Если с ней получится — дай Бог, не получится — не судьба. (Врач: почему вы здесь?) Я отказываюсь от еды матери. Могу питаться только здесь и в ресторанах. Поэтому я здесь. (Врач: вы больны?) Я не болен, я просто учил американские ноты, и они меня раздолбали. Когда мне делают уколы, я не могу играть на пианино, а на саксофоне могу. Мать забирает мою повышенную стипендию, чтобы готовить еду. Тысячу рублей. Повышенная! У меня повышенная стипендия, потому что я пока еще чего-то значу для своей консерватории, они меня ценят. Они считают, что я стану великим музыкантом. А мать забирала! Тогда я позвонил в ноль-два и сказал,*

что подам на нее в мировой суд, чтобы она не забирала мою тысячу рублей. И они забрали меня. Сюда. Готовить сам я не могу, я стану великим музыкантом!

П., 57 лет.

— Согласно христианскому уставу водку стараюсь во время поста не пить. С женщинами дел не имел. (Врач: совсем?) Никогда. У меня была одна женщина — мать. (Врач: интим?) Нет. Мать — она как страна. И я хотел ее спасти. Я накопил денег в Москву, поехал на Лубянку. За мной погоня была. Они вылезали отовсюду, из каждой бутылки, из каждого бутылочного горлышка, из каждой открытой двери, как тараканы. Подошли ко мне и спросили... Ты Путина знаешь? А Лебеда знаешь? А знаешь, что с ними было? Они были в черных маках. Все ходят в разноцветных, а эти в черных. На Лубянке я так и сказал охраннику... Берегите Путина!

Лекция после психиатрии.

В., преподаватель, 43 года.

— Работаю на семи работах, четыре из которых — преподавание в различных институтах, две — предпринимательские. Еще одна... Ну, ладно. Могу сказать, что в нашем обществе иначе не получится: хотите финансов — крутитесь. Хотя я вам честно скажу, что крутиться не очень-то хочется. Но такие откровенности только сегодня, чтобы заведомо убить все сплетни о вашем новом преподавателе. Так что задавайте любые вопросы, отвечу на все. (Студентка: у вас есть любовница?) Вакансия открыта. (Студент: чем наш универ отличается от остальных?) Здесь как-то холоднее, что ли. В государственных всегда на отоплении скупятся. Зато красивых студенток много. (Студентка: что-что?) Красивых студентов, говорю, много. (Студенты хором: повторите еще раз!) За каждый последующий повтор — деньги. Запомните это на весь семестр. (Кто-то: ну вот, восьмую нашел.)

Этим вечером мы не пошли в кафе, а отправились в гости. Пили чай на хрущевской кухоньке Маргариты, однокурсницы Брик, галдели, смеялись, травили пошлые врачебные анекдоты. Как сказала сама Брик, чего стесняться, если уже и вальс с мертвецами танцевали. И в подтверждение ее слов на кухню внесли человеческий череп. Этому мужчине, когда он умер, было лет сорок. Причина — неизвестна, его имя — теперь тоже. Через десять рук патологоанатомов и хирургов он попал к этой девочке, а она истыкала его зубочистками, изучая какие-то там канальца. Вилли — так его нарекли, потому что у человека есть потребность давать всему имена — второй раз, третий. Они и меня сразу же, как я приехала, переименовали. И мою Лилечку Орлову когда-то стали называть Брик, как будто уверовали, что могут воскрешать былое — взамен настоящему.

«Да, забавно выходит», — говорила о чем-то Маргарита, держа череп в своих детских пальчиках. Подошел Рифат и фигой стал тыкать Вилли в нос. Я отобрала у них череп и, пока никто не видел, украдкой поцеловала этого мужчину в темечко — мне показалось, что он несчастнее всех нас.

Мы возвращались с Брик в Радужный и на подступах к поселку увидели, что свечения нет. Всю округу заволочло густым белым туманом, даже огней теплиц не было видно. Брик смотрела на меня испуганно: «Может, там что-то взорвалось?»

— Тише, тише... — пытаюсь говорить уверенно. — Все хорошо, ничего там не случилось. Ничего. Ведь нет?

Водитель автобуса слышит мой вопрос и вмешивается: «По новостям не передавали, значит, ничего не случилось».

Брик сидит на преподавательском диване и курит кальян, выпуская такой же белесый туман, как на улице. Желтое стекло поблескивает.

— И что ты думаешь делать, поедешь на практику в Европу?

— Не думаю. А что там, Лейла, делать? Ну, поучимся, а дальше? Оставаться там? Да там все захлебываются от эмигрантов, их там давят как клопов.

Она выпускает на меня плотное облако дыма, и я на минуту растворяюсь.

— Дай! — говорю; сидим вдвоем и пыхтим кальяном на Атомной кухне.

Она собирает меня в дорогу: кладет в мою сумку коробочки с чак-чаком, козье молоко и мед. А потом стоит и долго смотрит мне в глаза, а я — то на нее, то в окно, где белый туман и сомнительно — есть ли там мир.

— Лейла... приезжай еще. Я туда не вернусь, ты же знаешь. Я оттуда и уехала, потому что ничего не было — ни семьи, ни дома. А здесь — живем. Ты можешь считать меня дурой, но этот вид из окна — он мне уже нравится.

НАГОРЕ

Рассказ

Как красные сигнальные маячки — как можно мимо, не понимаю, нельзя мимо них пройти. До нас дозвонились из Москвы и велели собрать все, все, все.

Единственная радость моя была замешана на ГОРЕ — ударяйте, как хотите, они там, в своей Танеевке, все равно на свой лад произнесут — на́горе. Так вот, нагоре: на сухой земле, на колючей траве, на ароматной кашичке. Щеки еловыми ветками расцарапать, вѣтра в рукава напустить, пока нагору подымешься; лучше, конечно, в рукава льняной рубашки, да какая разница, пусть и синтетика. Подымешься — и никто тебя оттуда не отпеленгует, не вычислит никаким спутником; вне зоны доступа.

И красные сигнальные маячки — нет, не тот знак, это горная клубника. Как раз поспела ко второму нашему приезду. В прошлый раз была одна зеленая слепышня, десять дней назад. Мы спускались в Танеевку с пустыми ведерками, с обветренными руками, с загаром островками и белыми полосочками от маечек, исцарапанные, изжаленные — смотреть жалко; бабушка ругалась: «Почему не набрали?» — а как набрать, если еще не поспела. «Надрали бы зеленой — и принесли бы, может, все равно сладкая или доспеет, лежамши; а с Юсуповки пойдут траву косить для силоса — и скосят всю вашу клубнику». «А земляника? — взволновалась я. — Водится ли земляника нагоре?»

Но ничего нам не было, кроме светлой радости, очищенной от всяких примесей, дистиллированной. Удачно, что

прихватили с собой домашний лимонад и что перекусить, и вместо сбора ягод устроили пикник в еловой тени и тиши — вне зоны доступа. Дорвались до дикой, допустим, до одичавшей природы: когда-то здесь колхозные сады были, давно. А чуть сойдешь с горы, встанешь на хоженую тропу — засветишься, на минуту появишься в сети, и целое скопище писем на электронный ящик: фотопроект, библиотеки, «Фейсбук», «Твиттер»⁵ — следуй за мной... И бабушка позвонит и скажет спускаться: «Хватит засиживаться, пора в город». Часа полтора будем ждать машину, хотя могли бы эти полтора... Эх, бабушка, родная, зачем же ты меня... мне было так хорошо, мне было абсолютно нагоре.

Собирались в этот раз, она сказала нам: «И чтобы целое ведро!..» А у меня ладонь маленькая, собирать совсем плохо: одну сорвешь — две с горки спрыгивают обратно. Как красные сигнальные маячки — как можно мимо, не понимаю, нельзя мимо них пройти. Сердце колотится. Бежать на красный, а шоссе ревет и угрожает — это так; это уже не нагоре, нисколько. «Пусть дождь пойдет, уйти-спуститься!» — я молю, а из ладоней высыпается — руки трясутся. Изничтожить все вперед косарей, истоптать кругом!.. В городе еще с того сезона в холодильнике лежат — зачем же нарвали, что же не съели, пока зимовали, что же...

Мама дозвонилась, и почему я не оставила *его*, — велела собрать все, все, все. «Не рви зеленые, слепышня — это старухам», — сказала тетя. А старухам хрен собачий, нету слепышни: все одна к одной, спелые и наливные, как с конвейера. «Ну вот, — сказала тетя, — ведерко в этот раз всего одно, а их так много-много, какие спелые, ну мамочки». А завтра мы все сделаем как надо, честь по чести: и два ведерка, и лежанку — будем собирать и отдыхать под елкой, собирать и отдыхать, спокойно будет,

⁵ Запрещенные в РФ соцсети.

и воды возьмем, пить хочется, можно опять заделать лимонада, и батарея будет целая — заряду на сто процентов... нет, не возьму совсем.

А к вечеру так долгожданно вышли на поляну — земляничную. «Это, — сказала тетя, — не земляника, это лишь виктория, ее не будем, не такая сладкая». Кому же ее? Этим летом никто нагору не идет: страшное пекло, и слух прошел, что ягод нету. «Так много спелых — и пропадет», — сказала тетя. Но ведь они же не для нас цветут, и вообще. Конечно, ради людей не будут, просто захотелось — и выросли себе в удовольствие. Простые годы одна старушка все вставала в пять и приходила, пока длилась пора, набирала пятилитровые ведерки, продавала на перекрестках в городе. Стоило тысячу рублей такое, а чтобы набрать, весь день перед ними на коленях простоишь.

Мы видели других собирающих однажды: пожилые уже, ухоженные, как из оранжереи, интеллигентски так согнувшись, рвали они по одной. Рядом была их маленькая копеечка — такая же ухоженная и такая же пожилая — видно, просто проездом были, не устояли.

Возвращаться когда, я тогда задумалась: а сколько мы травы помяли и сколько маленьких деревьев вытоптали — сосенный легион; с первым дождем они воспрянут. И ночью он пошел, упал на город, нагору — везде, где только туч хватило, на все. Гремел, грозил. Высвечивал то в красное, то в фиолет. Во сне мне все мерещилось: как рву, как ни одной не упускаю, все — мои.

Мы взяли покрывало, и лимонад, и отдельно воду, и ведра — каждое по пять, и телефон оставлен был и запаролен, — и на такси из города в деревню.

Сначала ливень отпоил, а утром раскаленным солнцем схватилось — всего одна ночь, — и вот уж нагоре нет ни одной хорошенькой, все ягоды усохли, сморщились. Может, где в другом месте, в лесу... Мало ли по миру таких мест! — а здесь же, нагоре, здесь было слишком близко к солнцу.

Мы стояли молча, первой начала она... «Вот эти вот цветочки, — сказала грустно тетя, — в моем детстве называли часиками: дергаешь их и ходят ходуном, вот так... Который там час, поди уж много времени? Давай спускаться».

Мне было так легко, когда спускались: и потому ли, что наполовину полные и пустые наполовину... «Вот этот камень, — показала тетя на цветистую обочину, — таким большим был, когда я была маленькой. Давай хоть посидим».

МИШЕНЬКА

Рассказ

Мух в сарае он морит газом.

Первая уже баламутит в граненом стакане, что складывается из отражений зачаденного потолка, и стен, и скатерти, и больничной справки на ней, — вот последний водопой старой мухи, и потрепанные крылья перестают вздрагивать. Все грани сжимает крепко-крепко рука — смуглая, костлявая, с суставами тугими, будто морские узлы, — отодвигает стакан и переворачивает справку на чистую сторону.

Он, помуслявав карандаш, принимается с усердием по букве: «Бо-бо, го-го» — ни черта не разберешь. «Плохой карандашонок», — слабым голосом бормочет Мишенька.

∞

Господи

Господи

Помоги вернуть их домой завтрашним днем.

— Иди встречай, — раздается женский голос. — Батюк, кажется, приехал...

В дом, где морозно искрятся рюмочки на столе и фальшивый хрусталь люстры — все вымыто, чисто, только смуглокожие византийские образы в тенетне — высоко до них, не достали. Щелкают все три замка, с грохотом она отворяет и — ах! — холодный ветер; мальчишечьё лицо перед ней, белый сор мельтешит с неба — накрыл провода и перила; она пугается и закрывает дверь, а через мгновение, опомнившись...

— Батюк, поседел неужто?..

Он проводит рукой по белым волосам, и как сахар, подмоченный водой, седина стаивает; он смеется звонко, каким-то жадным московским смехом, и прямо на морозе.

— Иди же обниму... Нет, постой, войди в дом скорее. Галя, дочка, Батюк приехал!

Он нагибается, чтобы зайти, — высокий, как Мишенька, с унаследованной от него военной выправкой; Батя, или, ласково, Батюк, вечно безработный и оттого вегетарианствующий, ныне — аспирант; сын певицы местной филармонии и любимец бабушки и Гали, потому что любить им больше некого.

В красном углу, среди флакончиков с иерусалимским маслом и среди партитур Цацы, матери Батюка, висят его детские медальки по ходьбе — серебро и бронза. Ему сложно было постоянно, как это называется, сохранять контакт ноги с землей, ходить сложно было, бежать — проще; и, как любил говорить сам Батюк, оттуда и началось его хождение по мукам. Висели эти выстраданные медальки рядом с фотографией из ателье «Улыбочка», 1962 год, со скидкой в две копейки — производственный брак: на ней юные новобрачные Мишенька и Машенька и черное пятно меж ними. Никто не любил смотреть на эту фотографию, потому что брак все портил; и когда Батюк подменил свои медальки на шоколадные, в жестяной обертке, чтобы настоящие продать мальчишкам, — не заметили. Как и не хотели замечать, что одного президента подменяли другим. Неважно кто, главное, чтобы в единственную ночь, когда веришь: наутро проснешься, и все станет по-другому, с экрана сказали бы что-нибудь особенное и от души, хотя бы... лучше не станет.

— ...Я смотрю, у вас и топор под шторой... Опять прячете? — спрашивал Батюк, сбрасывая в сених модное пальто. Галя ерошила его мокрые от снега волосы, обнимала его долго, не давая Маме. — А что же вы меня текилой с солью не встречаете?.. Хватит, Галь, перестань. Ну, как он, совсем плохо дело?

— Со вчерашнего дня в сарае сидит. А как забрали его — бегал, топор искал. Совсем шальным приехал. Но как не забрать? Плакал, домой просился, письма писал, как год назад, когда мы у тебя на новогодних были.

— Письма? Никаких писем не видел.

Ворох исписанной бумаги и голуби, много нарисованных голубей, сидящих на полях тетрадных листов, засеянных корявыми буквами. Голубиные глаза продырявлены насквозь — от настойчивости сделать потемнее.

1

Задают одной вопрос кто из вас больше получает он или вы. Ответ он. А чем вы недовольны. Часто курит. Такой стал и я. Больно много денег на курьво уходит.

Прости меня дорогая во всем виноват я. Я знаю с чего это пошло но мы некто нибудь а люди. Да делаем много по дурости и глупости.

2

Ой миленьки! Какое я себе страдание предаю. Не могу. Только бы были вы со мной всегда в тихим порядке. Я не переживу. Когда вы теперь вернетесь. Пожалста прошу вас штоб были всегда вместе.

Што делать не знай. Што-то наговорил. Дурак. Машенька миленька моя...

Все болит. Ты сама знаш и Галя знат. Я бы што хоч сделал но все подорвалось во мне. Это болезнь во мне все подорвала. А болезнь жадность. Сейчас ничего не могу.

Прошу тебя Господь верни их домой. Жду. Пришли.

3

Здравствуйте Маруся и Галя!

Опять хочу описать хотя изорвал 4 леска вчера. Все лезит день и ночь в голову страх. Когда приехала Галя и зашла я сидел и писал. Зачем это все писать и кому это надо. Маруся как мне плохо. Што делается внутри.

Заснул. Повидему в семь часов разбудила неприятная темнота. Вспоминаю все все с детства. Мама и тещу и Маньку Писареву. Маруся прости меня если сумею дождаться. Некак непойму сам што за дурак. Молока нет остался один хлеб и нешто не хочу.

*Ну все Маруся неужели ушла совсем прости вернись.
Желаю вам хорошей жизни. А все же.*

4

Жду. Время 5 час. Поглядиш на дверь в передню избы думаеш дома но нет. Не могу нешто не могу. Все болит. Болит ну ладно. Жду.

Как плохо одному. Дурак! Прости. Все дрожит во мне.

5

С чево наченать леч и лежать не мог день не ноц. До Гальки мылся не помню какого числа. Всю ноц чембы отвлечся отовсех дум и мыслей но некак не могу. Жду.

Все ладно не могу. Жду я все. Жду я все жду.

Жду же жду.

Ой оей.

6

Маруся какой я есть. Ладно жизнь ушла. Изломался с детства а сейчас всеж годы и мои и твои. Сперва наговорил кричим а потом сильно жалкуеш.

Маруся ты вспомни што я творил в деревни и в городи и на службе. Вспомни и расскажи Хрестни. Страм! Не могу сам себе вспомнить об всем. Время 20 м 1 часа ночи.

Поделом вору и мука.

7

С новым годом! Крепкого здоровья вам в новом году и в следующие годы.

*И лежать нележитца вот и боюсь страм божий и не умру.
Молока нету хлеба нет куда идти кому нужно. Это я.*

— А что, — отхлебывал Батюк дымящегося чаю, — он сам эти циферки понаставлял?

— Да, у него каждое письмо на учете, как и сам.

— И сколько он написал за год?

— Да где ж их пересчитать. Они у него все. Он никому не дает, хранит как в сейфе, не украдешь.

Батюк невесело рассмеялся.

Последний год он снимал маленький домик в бедном подмосковном поселке по Новорижскому шоссе («по-нуворишски» — горделиво думалось ему), а когда его спрашивали, где живет, отвечал, что неподалеку от Кембриджа и CRYSTAL ISTRА. Летом ходил купаться на эту самую Истру — мутную и живописную; подолгу и мучась, писал диссертацию о защите информации, а кормился фишингом — выуживал данные и вскрывал банковские карточки. Жить можно; там и хороший монастырь рядом есть. Одно время, когда рыбалка не ладилась, Батюк даже думал все бросить и уйти в него на пару лет. Приходил к иеродиакону, и иеродиакон, доставая из кармана струящейся шелковой рясы толстую стопку своих визиток, принимался рассказывать ему, как ездит на симпозиумы и сидит в скайпе — общается с миром, но не в миру; и что, раз нет московский прописки, не возьмут в монастырь. Батюк, не показывая расстройства, садился на автобус и ехал обратно по шоссе, мимо светящихся билбордов и пока еще сырых, похожих на выжженную пустыню полей, где в скором времени должен был вырасти какой-нибудь Оксфорд.

Темно, зябко. На деревянном полу валяются мухи, похожие на шпульки черных ниток: мух в сарае Мишенька до сих пор морит газом — за год поколений пятнадцать-двадцать. Последняя живая из недавнего выводка таится по углам. Мишенька

сидит под рыжей самодельной лампой в желтой майке и застиранных кальсонах, с важным видом ковыряет часовой механизм.

Радио стрекочет где-то: «По словам Минфина средняя пенсия в стране к 2033 году составит 2,5 прожиточного минимума. А теперь к остальным новостям. В 2032 году с Землей столкнется гигантский астероид...»

Глаза Батюка начинают слезиться, так крепко в сарае пахнет табаком, что он въедается, потом — носить его с собой в волосах и одежде.

— Давно не виделись, — подает он Мишеньке свободную руку, в другой — пакет с фруктами; но Мишенька руку пожать не торопится. — Сколько уж, дед?..

— Лет сорок. Сорок лет. А Мишеньке сегодня сорок дней. Сегодня сорок дней Мишеньке. Свечку буду ставить за упокой души его. Ааа... Ты, Бать... Приехал? Приехал! — не смотрит на него дед; и совсем тихо... — Приехал, встречайте интеллигента.

— Приехал. С новым тебя. И со старым — тоже, — сказал он и понял, что больше говорить не о чем.

— И Краля с тобой приехала?

Батюк стискивает пакет, целлофан начинает трещать под его пальцами, он не замечает этого. «Про Кралю, как ты ее зовешь, ничего не знаю. Она сама по себе», — отвечает он и швыряет пакет на кровать. Высыпаются оранжевые, с блестящей гляцевитой кожей шары, Мишенька долго не может разобрать, что это такое.

— И Цаца твоя тоже не знай где. А ты бы лучше соли принес, не ем я сладкого — нельзя!

— Они не сладкие, попробуй сначала.

— Ничего ты не понимаешь, Бать. Дурак, одним словом. Молодой пока, поэтому ничего не болит и ничего не боишься. Сладкие, я тебе говорю, слишком сладкие!

Мишенька сказал — и как замкнуло: краской на стенах домов и остановок — «Соль», и одиннадцатизначный номер,

по которому звонить и искать эту соль. «Ишь ты, уже дойти купить не могут! На стенах пишут». — «Это, дед, химия для школьников». И замкнуло: сколько можно писать на стенах! «Я люблю тебя, Катя. Сарыгин» На следующее утро: «Сарыгин — гандон»; все семейство влюбленного ищет краску, чтобы замазать фамилию, или реками льется муниципальная. Конечно, цвета не совпадают, и на домах, на остановках, на заборах появляются цветные заплатки, стены становятся разношерстными. И замкнуло: перед Новым годом белые пакеты в синих кубических ромашках «Сіль». Мама всегда боится, что цены после праздников взметнутся, и Мишенька идет в супермаркет, набирает в тележку бело-синих пакетов и вместе с тележкой увозит домой, грозя охраннику: «Попробуй останови, осиль старика, прапорщика Советской армии!» Никто не хочет с ним связываться. Разве что сама Мама, когда-то обвенчавшаяся с ним на веки вечные.

— Он сначала болел, печень и лямб... лямб... лямбдб... тьфу, ты! Нервы, то бишь. Злой ходил. Вишь, с кех пор, — рассказывала она еще маленькому Батюку, когда они шли из секции ходьбы, но Батюк все равно бежал. — ...И вот Мишенька пошел к старухе, сказали ему сходить полечиться. Старуха ему велела обвенчаться, не будешь тогда болеть. Ну, и что делать — надо венчаться. А денег у нас не было, у меня только десять рублей было, а надо идти в церкву... им много нести надо. Даже колец не было... да даже хрестиков не было!

— Что же вы, — спрашивал маленький Батюк, — не по любви, а по болезни? А я думал, что так сильно любите друг дружку.

— Не-ет. Слушай ты! Платье на мне был штапельный — нарядный, в красненький цветочек. Красивый был, хороший. Сейчас бы материю такую. И вот пришли мы с ним в центральную саранскую церкву. Кольца, говорят, есть? Нет. Хрестики есть? Нет. Пошла в магазин. Золото, говорю, не надо, у меня всего

десять рублей, а еще батюшке надо дать. Купила тогда из железа, по рублю. И вот, пошли мы венчаться... Никому не сказали — ни его, ни казаринским — пошли венчаться тайком ото всех. Вдвоем, — показывает один указательный палец.

— ...Из деревенских увидела нас только Панка Крайнова. Свечи купили. Не помню уж, сколько я батюшке дала и чего дала?.. Свечи жгли, красиво было. Над нами держали... как уж называют?

— Ведро, — смеялась Галя, встречая их на пороге.

— Короны, абишь? Как цари стояли. А потом батюшка водил нас вкруговую. А колечки, колечки не знай куда дела. Галя с Цацей их изломали маленькими.

Она долго сидела молча в сених, не раздеваясь; потом...

— А сейчас бы ни за что не пошла венчаться. В таком-то платье.

— А как бы пошла? — вопрошал Батюк.

— Никак бы не пошла. Пошла бы Мишеньку в Берсеневку класть.

— Дед, говорят, лечили тебя? Что врачи-то сказали? — спросил, наконец, Батюк.

Муха в углу засуетилась, тысячи фасеток ее глаз заблестели: глядели на все, но не всматривались, среди темных цветов ее привлекало только желтое пятно мишенькиной майки. Батюку показалось, что Мишенька стреляет в муху своими выцветшими глазами — неужели видят друг друга?

— Садись, — задумчиво кивнул Мишенька на кровать.

Батюк опустился на продавленную пружину, оказавшись около стола: граненый стакан, ворох бумаги, карандаш, заточенный как игла, и механизм стародавних советских часов — безжалостно разобранный; в стакане Батюк увидел какое-то насекомое и брезгливо отвернулся. Мишенька вышел из оцепенения и наконец-то протянул руку, чтобы поздороваться, — так крепко, что Батюку стало больно.

— Знаешь, что я тебе скажу? Все сгубили, паразиты, и всех сгубили. И тебя тоже сгубили, поганые рожи. Чем больше человек учится, тем дурнее становится. А ты не верь никому, Бать, не верь, я тебе говорю. Послушай меня, не верь! Никого не слушай, если что в душе есть. Люби только себя... Помню, когда ты маленьким был, Бать, на руках тебя носил, в сенях к небу подбрасывал. Мама твоя, Цаца, с тобой больно-то не возилась, и я брал тебя и ходил с тобой по дому, на плечи сажал. Ты, миленький мой... умный, не по годам умный был. Я понял еще тогда. Такой уж беспокойный... Ручонки все к технике, все лишь бы нажать, изломать. И я беспокойный был и есть, а про меня говорят — дурак. В Берсеневку отвозят. А там их всех так много — и все такие умные, слишком умные и беспокойные. Смотри, что пишут про меня эти ваши врачи...

Мишенька из вороха выуживает больничную справку, на другой стороне которой письмо № 8; продолжает...

— Ай, неправда это ничто, я тебе говорю, неправда, Бать! Не верь им. Давай-ка, умеешь читать? Прочитай, что там написали?

— Краткий анамнез, — читает Батюк. — Диагностические исследования, течение... (Дальше, дальше читай!) Жалобы на боли во всем теле, плохой сон, общую слабость (Это так оно, дальше!) Со слов дочери: не спит, разбивает окна, выбивает двери, угрожает физической расправой ломом и топором, высказывает нелепости на сексуальные темы, считает, что его хотят отравить, обобрать, отказывается от приема лекарств.

— Ай-яй... неправда, миленький, это... Все неправда!

Мишенька закрывает лицо костлявыми ладонями и весь как-то сжимается, делается маленьким и острым, жеребачьи его коленки упираются в подбородок.

— Не буду дальше читать, дед. Ни к чему это. — И, перебравывая отвращение, кладет руку на его плечо.

Батюку вспомнилось: Краленька сидит на этой же грязной кровати и гладит старика по голове, успокаивает: «Чего же ты боишься, дед? Ну, не плачь, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Что говоришь — в землю боишься уходить?.. Ее боишься? Да нет ее, земли! Не существует. Как так? Слышал ведь — пшено в землю уходит, чтобы преобразиться? И человек тоже», — и целует Мишеньку в висок; и не видел Батюк его глаз, только гадкую улыбку видел. «Ну и хорошо, — думается Батюку, — пусть астероид упадет, пусть! Пусть нас всех разом...»

— Порву! Дай сюда ее!..

Вырывает Мишенька справку и на мелкие кусочки, на слоги рвет — и вязкое мышление, и эмоциональную неустойчивость, и сниженную продуктивность, и Господа Бога на оборотной стороне; все рвет с немой яростью. А потом молча сидят — не о чем больше. Мишенька заговаривает первым:

— Что там в Москве есть, чего у нас нет?

Он берет стакан и осушает его.

— Все есть.

— Вот и у нас все есть, водка только закончилась.

*

Батюк так горько плакал, как только наемные плакальщицы сдабривают похороны в мордовских деревнях. Он шинковал горькую луковицу к утопленникам. «Это все лук, Галь, это все лук». А потом сам с собой: «А Краля-то наверняка не приедет, не приедет Краленька».

— Да уберите же кто-нибудь этот лук, — кричала Галя, — не видите, ребенок плачет!

Когда утопленники всплыли, приехали Казарины — Нина в каракулевой шубке со стрижкой каре и Валентин, раздобревший и свирепый, потому что машина сломалась и ехали на троллейбусе; без Крали.

— Как Мишенька-то, набрасывается?

— Как?.. Как всегда. Вон топор под шторой прячем. На днях бегал, искал, где его топор, зарубить хотел.

— Второе воплощение Раскольникова.

— Кого это я слышу? Батюк, что ли, приехал? Батюка!

За столом сидели долго, глотали живьем утопленников. «Как их есть, такие большие?» — удивлялся Валентин. «Молча», — отвечала Мама. Пили водку и вермут, спрашивали у Батюка: «Ну что, после аспирантуры вернешься в Саранск — жить, работать?» — «Ни за какие деньги!» Через полчаса заново: «Вернешься?.. Вот и наша, тоже ни в какую не хочет. Смеется, что если и приедет, то в “Хороводе” гоу-гоу танцевать». Батюк вспоминал и немел от злости: «Краленька в “Хороводе”?! А ведь возьмет и пойдет, танцевать она любит», — и снова вспоминал и немел...

Каким-то летом Краля приезжала к ним погостить: позагорать на огороде, искупаться в баке... Развеселилась и стала танцевать в зале, Мишенька бормотал проклятья в соседней комнате, а она все не могла успокоиться — танцевала и танцевала, динамики на полную мощность, и пол готов обрушиться в преисподнюю, где зреют закатанные банки огурцов и помидоров. «Хватит! Хватит, паразиты!» — кричал Мишенька, а Мама как будто вступила в сговор с Кралей и заявила: «Чихайте! Кашляйте! Смейтесь! Пусть слышит». И они танцевали, а потом плескались в бачке и поливали соседние огороды из шланга, от озорства; развесили посреди двора на веревках белье и сидели, укутанные в полотенца, пили чай с чабрецом. Мишенька ходил по двору, путался в бельевых веревках и цеплялся к Маме:

— А эти вот... маленькие, с бабочками, это чьи?

Краля уходила в летнюю душевую. Плеск воды завораживал и напоминал что-то истринское, нахальное, наудачу. Батюк заметил, что любитесь живым трепетом душевой шторы, тем, как играет на ней тень, и до сих пор помнит свои догадки: ах,

вот это, должно быть, ручка... ножка... — и ветер гонит складки, и на мгновение стал виден краленькин локоток, красный, в мыльной пене. И что-то теплое, нехорошее скрутилось узлом у него внутри.

«Нет, никогда больше не придет Краленька. И не мечтай!» — одернул он себя. Нина пила вермут, Валентин хохотал — они ничего, совсем ничего не знали.

— Вальк, — будто очнулась Мама. — Поговори с ним, с этим зверем. Свечки ставит каждый день, а за нас молит, чтоб мы подошли скорее. Тебя послушает — может, хоть в разум возьмет. Совсем с ума вышел... Поубивает же... Бать, иди сходи за Мишенькой в сарай. А ты поговори с ним, поговори. Может, изменится чего?

В сарае все такой же молочно-сизый табачный туман, и в нем, сторбившись, сидит Мишенька — руки опустил на колени, смотрит куда-то перед собой; безынтересный уже часовой механизм валяется под столом — так и не отремонтирован, только изуродован зря, а сам Мишенька преобразился: успел переодеться и был теперь в праздничных черных брюках и клетчатой рубашке, змеи его дешевой сигареты оплетали его руки и кирпичную шею со вздутыми венами.

— Все еще «Приму» куришь, дед?

— Ее. Умру — «Беломорканал» буду. После смерти все правильным делается.

— Откуда ж тебе знать, как после смерти?

— А мне сестра твоя сказала, Краленька, — растянул он губы. — Тебе ль это, Бать, знать? А вот она — другое дело. Такая беспокойная с детства была! Умненькая.

«Он больной человек, — говорил сам себе Батюк, — послушай, ведь он просто больной человек. Один, два, три, четыре...»

— Такое, — продолжал Мишенька, — в лабораториях не выводят, в учебниках не пишут. Нигде не прочитаешь. Не двадцать лет я прожил, все знаю, все пережил.

Батюк не нашелся, что сказать, считал: «...Восемь, девять, десять», — немного успокоился, и на выдохе:

— Праздник сегодня, дед. Хорошо бы всем вместе посидеть, семьей, так сказать.

— Где же ты семью видишь, Бать? Книжки читать научился, вот и сиди читай. А я и без тебя знаю, что сегодня праздник. Видишь: вырядился, все новое.

— Пойдем к столу, а? Бабушка зовет. Там Казарины приехали, утопленников наварили.

— Самому хоть топись! Надоели, паразиты. Подожди ты, не побрился еще. Одеколон найду и надухарюсь.

*

— Душиться он собрался, духами. Не идет.

— Ишь, какой... Он сегодня потребовал рубашку с брюками, что на смерть отложили, а он наряжаться вздумал.

Все в этом доме были прекрасно знакомы с черным кожаным чемоданом, много лет лежавшим под Мишенькиной кроватью. Чемодан был старше Мишеньки, еще отцовский, он являлся свидетелем его знакомства с Мамой, тогда еще молоденькой черноглазой девицей. На этом чемодане она сидела, когда в первый раз пришла к Мишеньке в военное общежитие: стульев не было, одни казарменные кровати, предложить девице сесть на кровать Мишенька не решился. Он поил ее чаем с молоком, а утром, один, ел кашу на воде — и не жаловался. Тогда они были молоды, не замечали лишений и им хватало друг друга. Тогда они не знали, что этот черный чемодан будет кочевать с ними по военным городкам, пока не задвинется под кровать их собственного деревянного дома в Саранске. А потом его будут считать чемоданом на смерть, и содержимое его — все простыни, венчики искусственных лилий, атласные ленты с молитвами — Мишенька каждый год будет доставать и разглядывать, а парадный костюм, в котором он должен лечь

во гроб, наденет, истаскает в тот же день, и Мама, сокрушаясь, поедет на рынок за следующим костюмом. «Что, воскрес?» — будут смеяться продавщицы.

Весной, незадолго до Воскресения, Мишенька ходил на перекресток Базарной и Градской — Мама посылала его за сахаром на ярмарку, что уже лет триста проходила на этом самом месте. Туда привозили атемарские туши и свиные копыта, ичалковский сыр в желтом парафине и — с недавних пор — мордовский Parmezan, ведра сгущенного молока и мешки кукурузных палочек.

— Кой те сахар? — плевался и морщился Мишенька. — Эту отраву!

Но все равно привозил ворованную из супермаркета тележку и плелся к цветным брезентовым палаткам, сопровождаемый лязгом заржавевших колес о сухой, проветренный весенний асфальт.

«Вон, чешет, — шептались краснощечие продавщицы. — Совсем, говорят, из ума выжил, в Берсеневку катается». Многие на ярмарке знали Мишеньку в лицо и по фамилии, и что он с Базарной, и что каждый день на всю Базарную грозитя спалить свой дом. Половина саранского центра — дома деревянные, и ветер в городе неистовый: если что подхватит, то понесет, не заметишь, как с горизонта пойдут черные клубы дыма. «Дом на Николаеве, — безошибочно определит Мама. — А это вот в Лямбуре». И ни один дождь не погасит, хотя дожди бывают такие, что по полтора месяца.

*

— ...Иду как-то с рынка, с новым костюмом. Подхожу к дому — грохот какой-то. Гром, что ли, думаю. Смотрю: сковородка под окном лежит. Думаю — откуда взялась? А это Галя кинула от дождя.

— Так от дождя же нож надо кидать?

— А у нее только сковородка под рукой была. И ведь прошел!

— Испугался, наверное.

— Вот бы Мишенька так испугался и делся куда-нибудь.

— Так как он, ходит? Он как-то жаловался, что ноги боле...

— Болят! — закончил Мишенька, подкравшийся к залу.

Он побрился, нашел в шкафу сарая склянку с сомнительным содержанием, тройной одеколон. «Святая троица», — бормоча, накапал он на жилистые запястья.

— Здравствуйте-здравствуйте! Приехали, значит?

— О, дед, здравствуй. Как здоровье?

— Еле хожу. Покамест без клюшки, а то бывает так, что доползти не могу.

Мама, поджав губы, смотрела на Мишеньку. Вчера вечером прапорщик Советской армии, получив от нее полтинник, побежал в магазин за водкой, как бегал двадцатилетним женихом на свидания. Вечер был поздний, Мишенька радовался тому, какие теперь магазины стали. Раньше были с прилавками и счетами, потом с кассами, потом — самообслуживание, постоянный писк штрих-кодов, время закрытия — 22:00, 23:00, круглосуточно. И окна горят до рассвета, и все слетаются на огонь.

— Ты держись, дед, надо как-то жить.

— А житья собаки не дают.

— Какие такие собаки? Что ты придумываешь? Давай лучше за наступающий по рюмочке.

— Я не пью, мне нельзя.

Валентин достал из-под стола запотевшую бутылку, срезал с нее акцизную марку, та цветочной лентой упала на пол, и стал наливать всем по кругу. Батюк водку не пил и Маме не разрешил, она тихо причитала, сидя рядом: «Житья мы ему не даем, собаками величает, вот, значит, как».

— Это вы Бате в такие рюмочки наливайте, — после второй выпитой разозлился Мишенька. — Мама, принеси-ка мне стопку.

Чистенький стакан в руках Мишеньки отразил заиндевелое окно и бракованную фотографию с медальками, висящими серебристой чешуей, и беленый потолок.

— Давай доверху! — сказал Мишенька; и вот уж окна, стены — до самого потолка — все заливается водкой.

— Еще!

Заиндевелое окно, бракованная фотография с медальками, висящими серебристой чешуей...

— Еще!

Заиндевелое окно, бракованная фотография с медальками...

— Еще!

Окно, фотография с медальками, потолок...

— Ты хоть закусывай, миленький! — застонала Мама.

— Я не закусываю, я запиваю, — сказал и жажнул еще — раз! — и потолок опрокинулся, потолок на дне.

Вилкой он проткнул утопленника, из дырочек засочилось масло.

— Чего насажали вы, я вас спрашиваю?.. За свою-то жизнь! Это ли картошка?

И Батюк, и Галя вспомнили одно: как каждое лето Мишенька съедал несколько ведер картошки и все кричал, что она не молодая, что его обманывают и подсовывают старье с прошлого года. А картошка — клялась Мама — свежайшая, только из земли вырыли, еще землей и червяками пахнет; с утра Мама ходила в огород «выкапывать курень».

Мишенька все жаднее до всего становился, даже дышал глубже, как будто хотел больше воздуха в себя вобрать.

— Да-а-а, — сказал Валентин, — не то, что раньше было. Сейчас закатываешь помидоры, а потом они аспириновые на вкус.

— А ты больно-то не рассуждай, Валечка, — перебил его Мишенька, — ты этого ничего не знаешь. Молодой еще, а я вот все видел. После войны даже в деревнях есть нечего было. Картофельные очистки варили, траву, коноплю всякую.

— А конопля-то какая была, — вмешалась Мама, — сладь! И лепешек из нее наделаешь, и каши.

— ...И поэтому все такие радостные и счастливые были, — усмехнулся Батюк.

— ...Траву, говорю, ели, сорняки. Правда, Мама?

«Траву, ели, сорняки, шишки, иголки, — думал Батюк, — кокос и траву».

— И ничего, все выросли сильные и здоровые, умные. Вот это да, жизнь была, пока змею на груди не пригрел. Приворожила, ведьма. С тех пор и жизни никакой не дает... Как что, так Мишенька — огород копай, снег чисти, городьбу городи. А потом выкобениваются, что он не делает ничего, на кровати лежит. А они ездят, как министры, обучаются, песни поют на сценах. Вот наука, я вам говорю: живешь, пьешь, а завтра все равно помирать.

— Все там будем.

— Э-э, нет, не встретимся мы там, у нас дорожки разные. Не пойдете вы за мной. Лучше... А вспомните-ка лучше, как я городьбу принес огород городить? Нашел же, украл! Заводские, аль смотрят? Да и не только оттуда, еще с «Ламзурия»... А как три ящика карамели утащил для вас, тоже не помните? Как бежал потом по Базарной, думал, что охранник догонит. И все им Мишенька дурачок, Мишенька не делает ничего, Мишенька на кровати лежит. Змея! Я тебе покажу! Я вам всем покажу, паразиты.

Прапорщик вдруг замолк, озирается по сторонам, а в зале один только Валентин остался.

— В магазин, что ли сходить, Валь. Папиросы закончились. Или Маму надо заставить, а то не дойду.

Мишенька достал из кармана пиджака шапку и надел, вставая.

Валентин не собирался его отпускать: «Дед, какая шапка у тебя смешная, прям как у разбойника!» — «Это почему как у разбойника?» — «Ну, как у террориста». — «Чего это ты вздумал молоть, дурак? Какой я тебе террорист? Я в советское время

чекистом был». — «Да похожа просто. Черная, опустил ее, а там только прорези для глаз». — «У меня она ниже бровей не опускается, я ее пришил. Вздумал калякать...» — «Ну, раз не опускается, значит, хороший человек». — «Чекист, я тебе говорю!» — «Хороший чекист. Да ты не обижайся, у меня у самого такая же». — «Не-ет, нехороший человек я... Слышал песенку такую?.. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с советского ЧК? Вот так и начинается все, так и заканчивается. А ты — молодой пока, не кончаешься». — «Какой молодой, пятый десяток доживаю». — «Это ли годы? Вот доживешь до моих... Мишенька — и то все работает. Хотя эти паразиты говорят, что ничего не делает он. Ест — плохо, не нравится. Ходит — надоедает. Мишенька, свет не включай. Мишенька, половицами не скрипи. Мишенька, не дыши! Э-э, життя! Дышать нельзя».

Прапорщик затынулся воздухом и как смахнет все бутылки со стола — грохот стеклянный, и в окнах стекла задрожали, запели. Он уже замахивается на Валентина, но не успевает. Рука в каракулевом рукаве останавливает его. Каре Нины на лету растрепалось.

— Что смотрите, что? — кричит Мишенька. — Прибежали? К армейской жизни приготовились? Будете стоять в нарядах, бабы нарядные! А Мишенька у вас лишний, отжил. А ты чего смотришь, толстый? Отрастил брюхо — и рад? Вот доживешь до моих лет, будешь на карачках ползать! Экономный экономист, старика вздумал учить!

— Валь, пойдем, а... Мы домой как раз собирались.

Прапорщик ухмыляется и изображает Валентина, подбоченившись, притоптывая: «Вот такой толстосум эдакий! Иди-иди, проваливай! Чтоб тебя каток... С Новым годом!»

Щелкают все три замка, и Мама, рыдая, спешит в свою комнату, больше похожую на чулан, — с Мишенькой они давно живут порознь.

— Ой, стыд-то какой, позор! Так представил нас. Совсем совесть потерял, черт. Удушусь! Как я устала, удушусь! Хоть в лес уходи и вешайся на суку.

— Зачем в лес? И в городе деревья есть, — заметил Батюк; его терзало другое: «Казарины теперь не приедут, значит, прогорело все, не будет Краленьки».

— Все, — кричала она, — хватит с меня твоей семьи! — кричала в последний свой приезд; волосы мокрые — только из душевой, глаза красные.

— Она и твоя вообще-то тоже.

— Это полынья! Замкнутый круг...

— А какой еще бывает круг? Незамкнутый? Так это и не круг тогда уж. Все так живут.

— Все по-разному живут, а вы так и будете жить — долбя и долбя, захлебываясь и не замечая, как полынья ширится. Как сеете пустые споры.

Всегда, как приезжала Краля, Мишенька тенью ходил по комнатам и подглядывал, подслушивал их разговоры, сыпал проклятия. «Э-э-ка Краля...» — шептал он, видя, как та расчесывает волосы или смотрится в зеркало, а потом — ой, мамочки! — пугается, видя в зеркальном отражении позади себя Мишенькино лицо. Он, радостный, что напугал, уходил, бормоча: «Матерь Божья, как похожа-то, как похожа! Только б волосы в косу», и вот однажды ворвался к ней в летнюю душевую.

*

— Господи, — плачет Мама. — Зачем ты так со мной?.. И с этим я чертом перед алтарем ведь стояла!

— Давай, ведьма, реви громче! Приворожила, ей-богу, приворожила...

— Не могу я так больше, не могу! Зачем ты пытаешь меня, Господи? За какие грехи? Всю жизнь я была верна этому черту.

Так оно и было; когда Мишенька служил, молодой Машеньке было стыдно перед солдатами: она была приветлива и всем нравилась, а муж ее по-звериному, с какой-то нечеловеческой яростью ревновал и обещал всем, кто на нее посмотрит, шею свернуть и ноги поотрубать.

— Нехорошо, дед...

— Нехорошо! А что есть хорошо? Что есть хорошо, скажи ты мне? Опять лезешь! Раз лезешь, Бать, осиль старика!

Мишенька резко хватает Батюка за ворот рубашки, сжимает своими крепкими руками его шею, Батюк от неожиданности даже не сопротивляется.

— Чему тебя учили, руки холить и девкам подол лизать, а? А?! А ты — не подходи! Не смей. Ребенок семи... и еще сорока лет. Свою семью...

Не имела; лаборантом из лаборатории ушла; целыми днями ходила по дому и заглядывала в разные окна, скрывалась за шторами и прислонялась лбом к холодному стеклу, высматривая на улице что-нибудь интересное. Так, в конце девяностых она увидела, как в огороде рыскает молодой человек и рвет их мак. «Дурак, это же декоративный!» — хотела она крикнуть ему, но не успела — убежал. А в начале двухтысячных увидела, как этот же парень взлетел на лысую березу и замер на макушке, снимали его на пожарной машине. Больше ничего интересно не происходило.

Не имела, да; но Батюка она вырвала из отцовских рук, как обезумевшая мать, как тот парень, которому ничего (а ничего ли?) не стоило взлететь на березу.

Головокружение:

— Мама! — зовет Батюк бабушку.

Она ему видится... Прикладывает руку к сердцу и говорит Мишеньке: «Я тебя очень прошу, пожалуйста, отвали!» Это день, когда Батюк поехал учиться в Москву. И Мама — какой она была милой в ярко-голубой курточке, оттеняющей ее

смугло-бледное, почти китайское личико, такой маленькой она была, что хотелось взять ее на руки и не отпускать; но она не птичка. Провожать к такси вывалились на улицу все, даже Мишенька, которому Мама говорила: «Не ходи, нечего тебе, не ходи!» Стояли в дверях и махали. Ехал Батюк по Базарной на вишневой восьмерке, все оглядывался и оглядывался на свой дом и видел дедовскую руку; она не останавливалась, как заведенная.

*

Батюк заматывает шею маминым платком, чтобы скрыть следы Мишенькиных пальцев. Мама тербит скатерть, Галя долго и упрямо смотрит ей в глаза, та молча кивает. Накладывают на поднос еды и просят Батюка сходить на кухню, Мишеньке за вином. На деле — за водкой, но говорят, что за вином. Возвращаясь в зал, Батюк видит странное оживление: Галя прячет что-то под диван. Когда они обе уходят из зала, он нащупывает на дощатом полу что-то железное и холодное — эмалированную коробку в лимонных розах. Щелчок — внутри пакетик с чем-то белым, похожим на сахарную пудру. Под пакетиком — стопка купюр, бережно перетянутая канцелярской резинкой, ловким движением Батюк раздевает ее, и пять тысяч ныряют в глубокий аспирантский карман. Щелчок — и дощатый пол.

Взволнованным голосом Батюк говорит пришедшей Маме:

— Пойду-ка я перед Новым годом свежим воздухом подышу.

— Иди-иди, а то дышать с каждым годом все тяжелее.

Чтобы не шуметь, Батюк дышит ртом, выпускает белесые пары. Снег весь день и весь вечер сыпал и сыпал, сухой и холодный, как будто раскрошенный пенопласт, и когда перестал, за двадцать две минуты до Нового года, оказалось, что дома лишились крыш. Из всего густого снежного полотна выделяются только стены с темными провалами окон и редкие черные ветки, как будто нечаянные росчерки капиллярной ручки.

Черная земля неба засеяна звездами, но Батюку по подмосковной привычке думается, что это мигают самолеты.

— Образованный!.. Йк... йк. Сукин ты сын, я тебе говорю. Кто отец твой? Кто?.. Поминай, как звали. А как поминать, если она его, поди, и не спросила об имени. Мать твоя не знает, Цаца! Нагастролировала. Вот где она сейчас? Она такая же, как и бабка твоя. И Краля ваша такой же будет. Ведьмы! На костер вас... и водкой полить... нет, жалко. Из столицы он приехал. Посмотрите на него! Тут такого и в дворники не возьмут. Мундаринов попробуй, Мишенька. Сам ты муд... И такую же ведьму в жены возьмешь. Ты ее молоком пои, ага-ага. А я ее застрелю.

Наваждением в глазах Батюка загорается черное небо — алым, синим, анилиновым. В карманах пальто он сжимает кулаки и уходит в дом. Он знает: нигде его не нагастролировали, отец его — незаслуженный артист Мордовии, известный в ультразвуких кругах. Знает, что Краля никогда не будет Цацей — птичкой певчей, филармонической. Знает — год назад, когда приезжали к нему в Москву еще до его фишинга и Истры, рассказали, — что на исходе двадцатого века Мишенька застрелил человека.

*

После армии Мишенька узнал про вышки за Пушкинским парком и пошел устраиваться стрелком на военную базу, сутки через трое. Ездил туда на стареньком велосипеде, рама которого кое-где зачем-то была перемотана изолентой. Привозил оттуда патроны и зеркальца, скрученные с танков, продавал. С какими-то патронами Батюк игрался, помнит. Помнит и то, как дежурные сутки Мишеньки как-то затянулись втрое. Он вернулся домой пешком, а не на велосипеде, и молчал. Маленькому Бате невдомек было почему. В ту смену случилось ЧП, была объявлена тревога: захват военной базы — огонь! — предупредительный выстрел в небо. Но пуля из Мишенькиной винтовки взмыла не к небесам, а в человека. Насмерть; комиссия говорила, что невозможно застрелить

человека с такого расстояния, да еще и с такой точностью — это чудо! — восклицали они. А Мишенька на тюремной скамейке одними губами: «Не целился я! Не целился, не целился, не цели, не цел...» Звонили из Москвы, велели отпустить, извиниться. А потом и приезжали, вызывали всю смену (товарищи шептались: ты ничего плохого не сделал, не убивайся же так), благодарили за то, что военная база хорошо защищает родину. От кого — от загулявшего слесаря, на четвереньках ползущего под дырявой колючей проволокой. Мишеньке дали премию. Он от нее отказывался, но заставили взять. Стал из нее высчитывать церковными свечками: девять дней, сорок дней, полгода, год... А я живой! Придите и застрелите меня. Все сгубили! Сразу после ЧП саранские газеты своей грязной типографской краской голосили: «В наше мирное время человек человека... Как же он будет теперь смотреть в глаза своим детям и внукам». А жена убитого приходила на базу: «Вы его застрелили — вы его и хороните». И несчастная Мишенькина премия шла на похороны — на могилку, на крест, — а в похоронной процессии никто не шел, никому не нужен был слесарь. Когда на военную базу принесли эскизы таблички с надгробной фотографией, прапорщик заплакал: у них было одно имя на двоих.

И как замкнуло.

*

Эпикриз к истории болезни № 1488

Краткий анамнез. Наследственность психопатологически неотягощена. Родился в Мордовии в семье заводских рабочих младшим из двух детей. Раннее развитие своевременное. Окончил четыре класса средней школы. В армии отслужил полностью, остался сверхсрочником. После демобилизации работал на разных работах: сторожем в колхозе, шофером, грузчиком, стрелком. В настоящее время нигде не работает. Является инвалидом 2 группы по общ. Женат. Живет с семьей.

Болен около двух лет. Стал подозрителен, плохо спал. Считает, что у его жены есть любовники, и в этом ей помогает дочь. Считает, что они обе имеют много мужчин. Высказывает нелепости на сексуальные темы. Конфликтовал с женой, считал, что они хотят его отравить. Закрывался в комнате, перестал выходить на улицу. Состояние ухудшилось за последний месяц: не спит по ночам, раздражителен, агрессивен, угрожает дочери и жене расправой, утверждает, что от него хотят избавиться.

Состояние больного по ходу лечения.

При поступлении. В сознании. Внешне опрятен. На месте неусидчив. Правильно ориентирован в окружающей обстановке, пространстве, времени. Двигательно заторможен. В контакт вступает самостоятельно, на поставленные вопросы отвечает со злом. Выражается нецензурно в отношении дочерей. Дистанции не соблюдает. Обманов восприятия не выявлено. Мышление ускорено, по темпу непоследовательное. Эмоционально неадекватен. Негативистичен к окружающим. Фон настроения неустойчив. Критики нет.

На момент пребывания в стационаре.

В ясном сознании. В контакт вступает по вопросам, отвечает после паузы. Правильно ориентирован в месте, в собственной личности, а во времени грубо. Расстройств в сфере восприятия не выявлено, бредовых идей не высказывает. Память снижена. Мышление тугоподвижное, замедленное по темпу. Эмоции лабильные. Агрессивных проявлений нет. Походка шаткая, неуверенная. Речь замедлена по темпу, с малой модуляцией голоса. Фон настроения ближе к среднему.

При выписке.

Сознание ясное. В контакт вступает по вопросам, отвечает тихим, слабым голосом. Плачет. Правильно ориентирован в месте, в собственной личности, а во времени грубо. Память снижена. Интеллектуальный уровень снижен. Обманов восприятия, бреда не выявлено. Эмоции лабильные.

*

— Мам, а Мам, — говорит Галя. — Сиди-сиди только, не вскакивай. Мишенька, кажется... Ой, отец, кажется, того... Стой! Куртку хоть надень!

Руки Мама застывают на скатерти, потом расплескиваются, как вода по столу, и она уже бежит. Вместо шампанского к полуночи Галя принесла это.

На деревянных досках, в снегу, посреди двора, неподвижно раскинувшись, как морская звезда, лежит прапорщик Советской армии Михаил Корнев и открытым ртом смотрит на луну. В кулаке его зажат соленый огурец, и Мама, плача, берет этот кулак в свои руки, целует его.

— Миленький, миленький. Как же так... Куда же ты, как я без тебя теперь буду?

Она наклоняется над телом прапорщика и тормошит его, словно хочет вселить в него свою всепоглощающую нежность и оживить, она целует его лоб, и крепкий Мишенькин лоб становится мокрым.

На пороге замирают дочь и внук, внук и дочь, растерянные. Мама встает с колен и начинает долго и протяжно выть: «А-а-а, миленький мой!» Она падает в сугроб и мнет его. «Весь год, весь год сыпали эту дрянь... и ничего тебе не было! Мы же так, чтоб ты буйным не был. Вернись только, не желаю больше ничего! Вернись, миленький!..»

*

— Пожелай ему на день рождения, — несколько лет назад говорила Галя, — дожить до восьмидесяти лет.

— А сколько ему исполняется? — спрашивал Батюк.

— Восемьдесят два.

Мишенька лежит на кровати в сарае и рассуждает: «Вот были египтяне-планетяне, и где они сейчас?» Батюк дарит ему из московского секонд-хенда рубашку в красную полоску, на что

Мишенька хмурится: «Я по молодости зеленые носил, не нужна такая». Учит Батюка армейскому строевому шагу, отжимается, пытается на мостик встать.

Или еще раньше... Батюка разбудили в шесть утра. Выходит он сонный, Мишенька уже сидит на табурете в тужурке и шапке, рыскает по сторонам. Батюк желает имениннику счастья, здоровья и долгих лет жизни (Мама с Галей косятся на него), тогда Батюк меняет русло — желает жить в покое и мире. «Не озоруй, веди себя хорошо». Мишенька сидит и кивает, как неваляшка. Батюк всучивает ему подарок — термокружку, вода из нее сочится, стенки тепло не держат, но не выбрасывать же вещь. Батюк похлопывает Мишеньку по костлявым плечам, дерет красные стариковские уши, горячие и сухие, Мама шепчет: «Сильней давай, чтоб горели».

После полудня Мишенька лежит на своей кровати за желтой шторой, руки под головой, хрипло мурлычет себе под нос какие-то песенки, путает слова, придумывает их заново и zaczyna вновь, плетя и плетя одно и то же.

*

— Что, паразиты?.. — кричит вполне живой Мишенька, проснулся на снегу. — Обрадовались? Иди костюм покупай, старая ведьма!

Мама утирает слезы, а те все текут, и с удивлением: «Ожил, старый черт!» — она плачет еще сильнее, но теперь как-то по-другому. «Я так больше не могу, я удушусь!»

Мишенька с небывалой ловкостью поднимается. Замахивается на Гаю и Батюка. Гонит всех в дом, бежит за ними. В сенях спотыкается: желтая штора запуталась у него в ногах. У всех появляется время, чтобы спрятаться в зале. «Вот где прятался!» — видит Мишенька топор, хватает его. И радостно: «Зарублю, зарублю!» Мама, Галя и Батюк запираются в зале на ключ.

«Откройте, откройте, я вам сказал!» Звонкий клинок грызет деревянную дверь.

В зале полумрак: накрытый стол, шампанское, ель в игрушках, тревога.

— Включайте телевизор, — дрожащим голосом говорит Галя. — Сейчас начнется.

Из телевизора льется речь президента, ей вторит вой Мишеньки:

— Па-ра-зи-ты! Сво-лочи! Псарню тут развели! Всех убью!

Куранты бьют двенадцать, и Батюк, открывая шампанское, обливает Маму и Галю, те, плача и смеясь, подставляют бокалы. Себе же Батюк наливает водки и закусывает — Мама с Галей столбенеют — медальками за ходьбу.

— Проломил дверь, — видит Мама. — Мишенька дверь проломил! Открывайте окно, выпрыгивайте. Быстрее!

Галя распахивает окно, и улица, с ветром и грохотом взрывов, озаряющим округу страшным разноцветьем, входит в их дом. Они выпрыгивают в сугроб и закрывают окно снаружи.

Мишенька рубит дверь и подпевает гимну, надрывая горло:

— Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна... Ах, суки, закрылись! Славься, страна! Мы гордимся тобой! Паразиты... Нам силу дает наша верность Отчизне. Вот падлы! Так было, так есть и так будет всегда!

Прорвав блокаду, прапорщик видит, что в зале никого нет. Он находит на столе открытую бутылку и уходит в сарай счастливый.

Он долго не пьет. Стоя поет гимн, путая слова и положив ладонь на правую грудь. А потом берет пятерней стопку и видит, что на самой поверхности, где водка переливается хрусталем, плавает муха, последняя; он легонько толкает ее пальцем, и она начинает барахтаться. «Вот муха-то, — радуется Мишенька, как умел радоваться только в детстве; еще днем он видел, что она утонула и спала на стеклянном донышке, — теперь живая!»

ТЫСЯЧУ ЛЕТ БЕЗ ТЕБЯ

Повесть без кавычек

1

Потьма, крошечная потьма. Три тридцать утра — и ни одна собака не гавкнет, поезд в одиночку настукивает мимо, мимо. Огнями значатся соленых тюрем ассорти: мужских, женских, для малолетних и для иностранцев, — выбирай не хочю. Дубравлаг, поселение Явас... любил, — думается Учайкину, — любовь еще быть может. Приедем — вот и посмотрим, может или нет. А ей что делать в Саранске (для нее, при случае, и женская подойдет, и для иностранцев) — финка, как и положено, холодный блонд. Белозубая, тонкокостная, запястья сплошь в цветных фенечках. В три тридцать утра не спит — работает за ноутбуком, в своем одиночном СВ, любезно пригласила Учайкина и начальницу поезда.

*

Сарафьян ляной — она это так произносит. Вылизанный солнцем; стягивает его через голову и — вся она подо льном раскалена добела. Когда-то Учайкин видел, как при пожаре белые пластиковые рейки изворачивались и танцевали, быстро вытягиваясь и тончая, так и она — оплавленный кусочек пластмассы — тоненькая, изгибистая. И только венозный рисунок на груди ее ярчал.

Хватит! — остановился бы Саша Учайкин. Что, прямо с первого же предложения?

Допустим, все-таки со второго абзаца; но с чего же начинать повесть о Тысячелетии, не гимны же республике слагать:

славься-славься, звонче-звонче, — на шестьдесят и более страниц; с их близости — наверняка так оно и было.

— Заболеешь, Саша, — голос дрожал, — горячее, согрею для выпить... тебе.

— А ты знала, что мы встретимся?

— Нет, конечно.

Будь не он, а кто-нибудь другой — даже будь его отец, спитый техник Электровыпрямителя, она так же, черт подери, наполнила бы его своим молоком.

Вот бы ракету! — встрепетнется Учайкин в кромешной потьме, — пустить по нашему следу, чтобы до конца. Мордовия? — ничего за ней не стоит, кроме рычащего эр. Республикась Мордовиянь. Арасян, арасян, араселинь⁶.

*

Его встречали с оркестром — это тебе, Учайкин, не оркестр берлинского радио, но и так хорошо. А чуть поодаль ансамбль Торама — в мордовских рубахах.

Но это завтра, а пока на поезд он опаздывал — успевал, но впритык, к отбытию, впрочем, как всегда. Из туннеля метро выманивал сноп света: давай-давай, родной... давай же, собака, скорее... В долгожданной металлической утробе смотрел в туннель через стекло, по поверхности которого расплзлось его кривое отражение — не прислоняться — соблюдать стеклянную грань. Какую-то грань ему всегда хотелось преодолеть. Четыре года в Москве — а даже это заснять он почему-то не может, только и представлений: с какого ракурса, с каким фокусом.

Тем утром, во сне он уже так же опаздывал на поезд, так же выманивал, заклинал в метро сноп света и расплзался по поверхности кривого стекла — ехал, и потом все ехал и ехал; столько станций нет ни на одной ветке, будто метро прорыли

⁶ Арасян, арасян, араселинь (эрс.) — нас нет, нас нет, нас не было.

до его дома. Двери перестали открываться. Он остался единственным пассажиром. Время на телефоне — а телефон ни на единичку не разрядился за весь день, и осенило. Еще перед пробуждением приходила женщина — тьма-тьмушая архетипов, — брала за руку, вводила, заставляла краснеть, белеть, снежной изморосью покрываться. Он ничего не запомнил и не знал, что день проживает по увиденному до поры... до времени, на котором телефон во сне занемог, остановился; сейчас же Саша посмотрел на экран: успеет, никуда он не денется, успеет в свою республику — и телефон в ту же секунду сдох, обессиленный за день.

Казанский вокзал. Издалека увидел по расцветке и не обрадовался — тут армейцы, вся платформа они, всюду — не протолкнешься, все около его поезда. По билету — вот, что удивительно, купил перед отправлением и получил вагон № 0. Несуществующий вагон, может, и Мордовии тоже не существует, — подумалось ему, — и мордвы.

— Прикрепленных полно. Вы как будто нулевых не видели, два-доп из Питера прямиком, а ваш — в самом конце... с ЦСКА, да-да, счастливого пути.

Зачем только так возвращаться, продолжал бы свое броуновское движение вокруг да около. Однокурсники по другим республикам ездили, писали в ректорат: разрешите, досрочно, с такое-то по такое будем вынуждены находиться на территории Республики Куба.

Несколько секунд он еще сомневается: кассеты, будут ли в Саранске кассеты для полароида, да ничего там не будет. Отмыкает затвор — щелчок! — вспышка. И ждет, как из черного квадрата фотокарточки на свет белый проявится окно поезда с красным нулем на нем. Важно ему: пусть встрепенется все, ощерится перед его объективом. И пока его зеркалка была в ремонте, ему нравилось баловаться полароидом. У него по карманам были снимки за последние дни, в этот раз...

Университетский фасад, озаренный холодным светом люминесцентных прожекторов. Хлебные крошки на столе студенческой столовой. Люберецкая пустыня, вся в шинных шрамах, а точно такая — никто не знал — есть близ Хельсинки.

— Наконец-то, до самого последнего тянули. — Серdito скажет проводница, захлопнет дверь. — Уезжать не хотелось?

— Очень... — сунет он пока еще черную фотокарточку в карман, — хотелось, не то слово, как хотелось.

Рассеянно улыбнется ей, думая о другом: сфотографировал, но не сличил, вот дурень, чай-чай-учай, не успел — реальность со снимком или наоборот. А в моментальных только это и есть, но не задерживать же поезд на семь минут.

— А вещи вы не забыли?

— Я налегке.

В небольшом рюкзаке паспорт, уже виденные вами снимки, полароид, заблокированная кредитка, мелочовка, таящаяся на самом дне, придется выбирать: на чай или на троллейбус, да, еще маленький ножичек, отцовский, стащенный четыре года назад, когда удирал в Москву, учиться. Пока что финке доводилось знаваться только с мельбой.

Так: паспорт, снимки, полароид, ножичек... Стоп-кран, погодите, а ключи? — точно, ключей нет — от ½ комнаты сданы коменданту, а от саранской квартиры по улице Коммунистической никогда не имел — отец не доверял.

Досадно ему становится — отец... смутным он для него становится. Вот отец: стены оклеены газетами — ремонт, на столе бутылка самарского пива, медная решетчатая скумбрия, он в красной фланелевой рубашке, задумчиво подперев подбородок кулаком. Или не *это* отец? То птицы были, давно из рогаток перестрелянные, а позже, оставшиеся, — из травматической винтовки, в тире. Вместе с отцом и перестреляны — все до одной, чтобы не вспоминалось. Той десятилетней давности — такого отца он хорошо знал, они вместе ходили в маленький парк,

покупали сушеную рыбу, хлеб, сок и по одному треугольничку плавленого сыра; эти жестяные треугольнички только появились в магазинах: круглую коробку вскрывали и продавали поштучно. Два треугольничка, им больше и не нужно для городского пикника — на два бутерброда. Они спускались в парк по безымянной набережной речки Саранки, в парке катались вниз головами на аттракционах и до слепоты стреляли в тире. Тирщиком был мальчишка-узбек, беженец, их тогда очень много на проходящих поездах в Саранск прибывало. Отец договорился с мальчишкой и приносил свои пульки — целую коробку мог за вечер угрохать, упорно расстреливая птиц, зайцев, волков, солдат.

После тира они возвращались на набережную, где стоял деревянный городок, искали домик с непробитой крышей, на случай дождя, и забирались по высокой лестнице — все они на этих высоченных лесенках стояли, сказочные же. Во многих домиках уже фривольно кумарили, отец их ласково и нецензурно называл, но если везло и домик оказывался пустым, то они, довольные, расстилали на скамейки газеты и усаживались лакомиться скромными припасами. Отец закуривал сигарету и точил острым взглядом ни в чем не повинную Саранку. Что он в ней такого видит, что оторваться не может? — не понимал Саша. Ему оторваться легко оказалось — кровавым тромбом вверх по течению поплыть.

*

Речку вскоре перекрыли, в ее осунувшейся дельте возвели фонтаны и рукоплещущую Аврору, потом перекопали, поменяли тощее русло, Аврору свергли, берега закатали в бетон. Сказочный город исчез — шагом марш — в печь: рядом с парком сауна была и есть. Только и воспоминаний: как там крепко пьют, а потом баню закатывают. В такие места порядочным людям, наверное, стыдно возвращаться, хотя зачем вообще порядочным людям...

Возвращаться всегда тяжело и даже стыдно — после другой жизни, как после стерилизации, апостериори, пастеризованным молоком. С молоком в поезде был только паршивенький кофе три в одном — да какое там молоко, ахинея, ядохимикат. Для иностранцев — кофемашины, но на такой кофе мелочовки не наскребешь. Между тем, воздух в вагоне грозился позеленеть от хмельных испарений и армейских признаний.

— Отведите меня... — взгляд на бейдж, — Анна Сергеевна, к начальнику поезда.

— Зачем? — насторожилась она. — Слушайте... — молниеносно перешла на шепот, — давайте мы никуда не пойдем, может, переночуете в моем купе?

— Вы не так поняли... — Учайкин смеется, — я журфака МГУ, московского... студент. Еду освещать праздник, ну, по совместительству просто домой. И вот почему бы не начать прямо отсюда... освещать, в смысле. Тем более, весь вагон армейцы, а я как бы... за «Спартак» болею. Можно было б такой материал сделать: что из себя пять лет назад представлял ва... ээ... наш фирменный поезд и во что он превратился сейчас. Кофемашины, белые тапочки, приветливые проводницы.

Она задумалась; в желтом огне семафора, стреляющего в окна, мимолетом Учайкину померещилось: время полседьмого, а уже закат, конец лета, его первый осознанный поезд — целиком его поезд, везет его в Москву. Листья на деревьях уже опали и желтыми ворохами лежат на газонах; желтое солнце; а ночами бывают желтые луны. Вагон старый, дряхлый, пахнущий кислым железом и специфической пылью, которая так и парит в воздухе, не оседая. Четыре года назад. Ехал к первому сентября.

— Хорошо, — сказала она, — я поняла. Но только у нас нет начальника поезда.

— Как нет?

— Начальница у нас.

*

— Куда она ушла?.. — финка захлопнула ноутбук и впервые посмотрела на него — такая и цвет глаз высосет, мгновение — взгляд перевела — и снова на Учайкина, уже улыбаясь, — нет, все хорошо.

— За чаем нам, думаю. Мы вас правда не потревожили?

— Я сама тебя пригласила, тебя и ее, нет проблем. Мне бы хотелось много узнать.

— Да уж, мне бы тоже много чего хотелось знать. Нет-нет, это я так, ничего. А вы — на праздник, работать?

Какую же глупость сварганил чай-чай-учай, раз она так рассмеялась.

— Работать на праздник, — кивнула, — но моя работа — это долго говорить, слишком долгий разговор, ночь короче. А ты?

— Тогда в следующий раз?

— Следующий раз? — повела она бровью и снова рассмеялась. — Нет, сажайтесь.

*

К Рузаевке, часов в шесть утра, в вагоне стали греметь подстанниками и шлындать туда-обратно по узколякому проходу. Учайкин таких проходов за ночь штук двадцать осилил — в экспедиции с начальницей поезда. Теперь последние тридцать рублей отдал и притаился на своей верхней плацкартной полке (неудобно, но внизу армейцы заняли все места), прихлебывает сладкой дрянью и слушает...

— «Википедию» откройте, что ли. Почитаем хоть, куда приехали. Я, кроме того, что тут назначили этим сидеть...

Сидели, отбывали — да, одна из Pussy Riot, но это уже проехали. А через полгода такой же армеец сказал бы так: кроме того, что там квартира у этого ихнего французика... как его? — Депардьё...

— Ага, ниче больше не слышал.

— Видал Pussy Riot... — год спустя будет спрашивать Депардье, — когда они вышли из тюрьмы? Как с парада мод, ей-богу, в макияже, с круглыми щечками, с накрашенными губками. Черт побери, дайте мне адрес этой тюрьмы, я ищу место, где бы поправить здоровье!

— ИК-14, Мордовия, — ответил бы Саша Учайкин, — милости просим.

— Там по-русски хоть говорят, — продолжают армейцы, — в этом Саранске?

Только и говорят, — думает Учайкин. — Хотя вывески на четырех языках пишут.

— Пишут, что у них на днях че-то глобальное будет. Ребята, мусора будет завались, так что давайте, не буяним особо.

Глобальное, целое Тысячелетие единения мордовского народа с народами России. Ни один историк не придерется: ну а что, единение — это, можно сказать, и когда волки с лисами в одном лесу.

Скромный Старт Учайкина. Маленький, почти неприметный стадион «Старт». Этим вечером будут бомбить: армейцы против республиканцев — такой расклад. Вот и стадион: белые, синие, красные трибуны. В отдалении иглами — шпиди городские, из боязни — это громоотводы. И церковь — на месте советской гостиницы — громоотвод; сносили гостиницу в нулевых — уносили кирпичики на память, плакали. Отец Учайкина такой кирпичик, принесенный сыном, выкинул в окно: вот еще, булыжникам в квартире храниться; порядок, должен быть порядок. Да-да: согласие, порядок, созидание, — триада, выбитая на затылках республиканцев.

*

Как там?.. — спускается Учайкин на перрон, — с такое-то по такое, значит, я вынужден пребывать на территории Республики Мордовия? Или с другим пафосом: обязан быть со своим

народом, измученным стройками и вызыванием мордовских богинь. Каждый вечер на площади Победы: спускайтесь богини, спускайтесь. Репетиция парада.

И где же? — неосознанно начинает тушеваться. Никак не находит знакомое лицо — друга, заведующего музыкальным училищем. Это ведь он духовое сопровождение подогнал, решил удивить, так удивить? Ничего не понимает: где же тот сам? Вчера был единственным, кому позвонил и предупредил: приезжает.

А за финкой, Хеллой Турккила, заранее пригнали шевроле, двух профессоров и директора музея — и увезли ее ото всех подальше. По расписанию — завтрак, бассейн, приватный концерт Торамы и вечером в мордовскую деревню-глухомань, отстроенную по канонам позапрошлого века. Она там, среди эрзян-этнографов, впервые заговорит в полный свой голос: шумбра-ат, сукпря-аа, паро мель марто-оо⁷... Полгода училась тянуть по-эрзянски, а не по-фински, как и положено — бисером рассыпаться. Миссия ее — бисером рассыпаться.

Торама все надрывается; выходят из последнего вагона широкоплечие, в спортивной форме — это для них, для метателей дисков и ядер. И огонь шквальный фотовспышек, и залпы, залпы, залпы.

Армейцы стоят около вокзала, чем-то похожего на Рейхстаг, и растерянно втягивают в себя незнакомый воздух; им не знать, что недавно здесь была хлипкая станция и мини-лесок — и никакой привокзальной площади, никакого Рейхстага, никаких оркестровых выходов — грязи полные калоши. Незнакомый воздух пахнет свежим, только из-под катка асфальтом, известью разведенной пахнет и сыростью, начавшей покрывать августовские улицы. Деревья в своей запыленной от строек и тяжелой от августа чешуе.

⁷ Шумбрат, сукпря, паро мель марто (эрз.) — здравствуйте, спасибо, мне очень приятно.

— «Макдоналдс»? — веселеет Учайкин. — Нет его здесь.

— Как это нет? — не верят армейцы. — Не может этого быть. Везде же есть!

Как они беззащитны сейчас, черная иномарка медленно проехала, высунулся фээсбэшник, — и совсем притихли; и как будут отъявлены вечером, когда дорвутся до «Старта» и в первом же тайме разгромят Мордовию. Всего лишь ФК, конечно, но Учайкину будет обидно.

*

На белой стартовой полосе холодно, как на вершине эверестовой, ветрено: прижаться к рядом стоящим и гудеть, гудеть — болеть и согреваться. Два старика рядом: один за республику, другой — всегда за приезжих, — спорят на бутылку, но кто бы ни выиграл, исход — праздновать. Вы за кого? — каждый матч цепляются. За наших, — получают ответ. За наших! А кого мы под нашими понимаем?

Когда-нибудь Мордовия сделает не ЦСКА, но «Спартак», и весь Саранск погрузится в удивительное послезакатное блаженство, мужчины кинутся звонить: мама, мордва победила, слышишь? — и басом это пустозвонкое: Морррррдovia! — и мчаться с трибун, быстрее, к чертовой матери, с этих бело-сине-красных полос. А спартаковцев оградят, не будут пускать, и те, хмурые и чумазые, будут сидеть в клетке и покорно дожигать свои цветные дымовые шашки. Наутро пообещает выпасть красный снег, через год. Этого триумфа Учайкин не увидит.

Сейчас же ему стыдно красным цветом — самым реактивным, тромбовым и смиренным из всего спектра. Он не смог найти ответа на вопрос старушки. Она металась по песку в своих башмачках и спускающихся с колен колготках...

— Где же ты, где? Куда делся, Господи... Раньше стоял на одном своем месте. Приезжала, выходила из автобуса, шла одной дорогой. А сейчас не пойму, куда и идти-то, все не так. Ужель

снесли... Как до монастыря подворья мне... два месяца не была, теперь ничего не узнаю, все вверх дном.

Накрыло сияющим медным тазом. Нечто несусветное: к полудню солнце начинает припекать — и адовая жара, гул экскаваторный, скрежет песка под кедами, и марсианские кратеры, гноящиеся как после нещадной бомбежки. Красочный запах режет глотку — все окропляется человеческой кровью-потом и приобретает цвет: в положенном месте иссиня-черный асфальт, белят-перебеливают бордюры, скатертями выстилают готовые газоны — трава в этих рулонах термоядерного оттенка — в природе не сыскать, в акварели, разве что; этот цвет так и называется — зеленая травянистая, концентрат. Грузовики с этими рулонами напоминают установки с ракетами «земля — земля». Вот бы ракету... — гудит в Учайкине ночная мысль, — пустить по нашему следу.

Что месяц назад творилось — этого еще он не видел, и хорошо, что никогда не увидит. Автобус в Турдаки по развороченной улице тащится, у пассажиров вымученные лица, в воздухе тяжелая взвесь и гогот строителей битым стеклом; с домов на центральных улицах содрали штукатурки, и вот они, голые, оказались коричневого кирпича, как из тюремной баланды слепленные. По всей стране он видел такие тюремные дома: планировки внутри разные, а дома одни и те же. Нравится тебе наш город? — спрашивали его где-либо. На мой похож, — отвечал он, а свой город Учайкин терпеть не мог.

И как терпеть — перед самым праздником взялись все перекраивать, и каблуки гостей будут застревать в свежем асфальте.

2

Бежевый плащ и коричневый костюм, отцовское, по качеству и пуговицам, видно, югославское, а потом и свитер теплый, крупной вязки, достал Саша из шкафа и присвоил, удивляясь,

что все впору пришлось; отец всегда казался жутко недосыгаемым, высоченным.

Пять ночей подряд родная кровать была неуместно широкой, безбрежной. В общежитии — узкая койка с продавленной пружинной. Один-единственный день, раскаленный, — и Саша заполнил пустой холодильник, одежду отца присвоил — и резко похолодало, началась череда одинаково бесхребетного, плавно-серого. Вязко и муторно, делать нечего: только работать. С утра до ночи дожди — колкие накрапывающие и ливневые. Хочешь ночью посмотреть на звезды — а их нет, тучи на небе не рассеиваются, как в Москве. Не небо, а застиранная наволочка.

В городе смена изношенного и залатанного продолжается: вторят дождю, не смолкают своими молоточками и кувалдами, белят прямо поверх дождя влажные стены. Около того дома, что и так Белый дом, выстраиваются на цепельных ножках флаги финно-угорских народов. Домой, нет, не домой — в Дом спешит Учайкин, за аккредитацией. Ждал все утро, шлялся по набережной, смотрел на Белый дом издалека, как тот гармошкой расходится, мраморная гармония. Когда-то на каждой выступающей его грани висело по транспаранту — Согласие, Порядок, Созидание.

Надругались над его Саранкой. Она была теперь в бетонном панцире, и он думал о том, что не должна быть вода в таком окаймлении. На ее берегу к празднику сколотили мордовскую деревеньку, конечно, это напомнило Саше те домики, из детства. Эх, Николай Васильевич, где же ты, папа? На каком ТЭЦ-2 приютился у холодной незнакомой женщины?

Мама — нет, мамы он не забыл. Вернее, он ее и не помнил никогда: ни как волосы укладывала, ни каким мылом руки мыла, ни слова от нее до и после сна ни слова. Не запечатлелась мама, не успела ему запечатлеться; оставила от себя один дырявый чулок: отец собрал ее платья, блузки, фотографии, даже

негативы — и во двор, и бензином, и спичкой чирк. За хулиганство его доставили в отделение к другу, майором служившему. Но и этого пожарища Саша не помнит, крохой-учаем был, захлебывался в нескончаемом реве на четырнадцатом этаже. И то, как отец поил его снотворным (а как люлюкать-баюкать?), тоже — нет. И как майор ходил к ним на Новый — годы подряд, тоже — нет; помнил только последний самый — принес он бутылку хереса и коробку мидий, кажется; и сцепились они с отцом, сосед Аверкин их разнимал, имя материно летало меж тремя мужчинами. Будто за нее, покойницу, сцепились — кому достанется. А им-то чего ее поминать, — не понимал кроха-учай. Он ее знал ближе всех, себя в первородной своей могилке знал, ее до последней капли; так чувствовалось ему, грудь сдавливало, дышать не могло.

Марево. Те женщины были тихи, словно совершалось какое-то незначительное действие, которое и было таким тихим, чтобы не спугнуть солнце и стайки безмятежно качающихся одуванчиков. Женщины в юбках до пола, до песка, скулящего под ногой, на каждый шаг — по красной гвоздичке. Иногда попадалась пестренькая — четыре штучки, он это ясно запомнил: дутыми трехлетними ножками еле переступал, только под ноги и смотрел — солнце слепило, даже в гроб не заглянул. А женщины в своих подолах уносили его маму и заматали следы. Песок — вот что заставляет его ненависть таить и изливаться. Извергнутой спермой, которой нет пути обратно. Он себя выпускает, выпускает, а она неистошима, ненависть.

Время подошло — помертвелое, какое-то казенное, ничейное. Белый дом. Корреспондентом одобрен, от «Столицы». Одобен главредом, к которому также напрямик заявился Учайкин в первый же свой день в Саранске. Застукал его за обедом — булкой с кофе, — одетым в джинсы-слим и водолазку с логотипом газеты — бегущей от стрел лисицей.

— Зачем?.. Фоторепортажи могу, да, с праздника. Учился в школе Родченко, в Москве.

— В Москве? — переспрашивает главред.

— В Москве, — повторяет Учайкин и добавляет... — На бюджете. Сейчас там же. Правда, выгнали... в смысле, что из Родченко ушел, а на журфаке так и числюсь. Но это все неважно. Вот...

Кладет ему на стол интервью с начальницей поезда.

— ...Это можно прямо в следующем номере дать.

Главред затопал снежно белыми кедами: наглец, ну наглец, ну наконец-то! — недоеденная булка была с удовольствием выброшена в мусорное ведро.

— Родченко?.. — допивая кофе, эспрессовую нефть. — Да, конечно, слышал. Но фиг с ним, с Родченко, мы тебя, парень, берем. У меня есть небольшая история сплетнеобразного вида, нужно оформить. Но это все потом. Мы тебя берем, без вариантов. Садись, кофе будешь? Потому что если мы тебя не возьмем, то тебя возьмет «Измор», это тоже без вариантов.

А измором здесь взять может, Саша знает по отцовской квартире: в гостиной стенке запыленные фужеры, в фужерах зубные коронки, конфетки задубелые, карамельки ламзуревские, ворохи квитанций, коробка корсаровского табака и коробка травматических пулек — отец опять, что ли, пристрастился... Должно быть, снова тирщик-беженец. По нехоженому слою пыли на полу становится ясно, что отец давно в квартире не был; на столе, обеденном, мятая квитанция. Сумма такая, будто задолженность за *весь* белый свет, Саша такую не потянет. Ставит крестик на руке: хозяйственных свечей купить. Не оплатить — кирдык такого-то августа. Куда же без света. А Света — маму так звали, или Валдонец, если по-эрзянски, — из их жизни ушла. Видно, правы были Аверкины: завелась теперь у отца женщина.

У них, соседей по этажу, взял он ключ от трехкомнатных хором — пустующих, как оказалось, изнывающих печалью. Подергал-подергал медную ручку — и к Аверкиным не без радости. Дверь открыл хозяин в вышитой рубахе. Ну, — подумал

Учайкин, — и у этих не все дома, придется во двор спускаться и с их малым гонять футбол, пока в себя не придут. Хотя, наверное, у них это и было — в себе.

— А-ээ, Санька, ну, проходи скорее, папаши твоего... как всегда, извиняюсь, что я такой, эээ... к параду подгоняем. Ты проходи, давай, пойду переоденусь, как раз собирался. Ты, что ль, с поезда? Позавтракаешь с нами? Ничего страшного, что суп?..

На кухне Аверкина пришивала атласную ленту на подол расшитого платья: бойко так, ловко. Она всем местным ансамблям костюмы шила, рука у нее хорошо поставлена была, хоть и всю жизнь цифры высчитывала, а это так, для души, для блеска в глазах и по паркету — сверкающими рассыпанными пайетками.

— Иностранцы приезжали, кто уж? — говорит Аверкина. — Ни бе-ме.

— Ээ, эстонцы вроде...

— Они, да. И говорят: продайте нам костюмы, мы их в музее финно-угорских народов будем выставлять. А я не далась. Говорю: как же это, они же наши, национальные. На парад в них идем. Вот сходим, покажемся президенту — тогда берите. Они задорого хотят — не то, что наши. Даньке хоть велосипед поллучится, а то в футбол и в футбол с утра до вечера, а мячик и то — чужой. Стыд!

— Не косись, не косись так на меня. Играет — и то хорошо. Мы вот сегодня, Санька, на матч пойдем, ээ... против ЦСКА, знаешь ведь? А мячик... Стыд ей, ха! А самой не стыдно было упустить такую... такую рыбину, эээ, бабы. Вон один приезжал. Как ты за него рассчитала все — за баньку, рыбалку. И все ровно, как оно и есть, а самой хоть нолик лишний в конце поставь, да хоть два! Не заметит он все равно. Десять велосипедов у Даньки было бы!

Третий день — завтрак, обед и ужин — у них суп: нет времени сварить еще что-нибудь, праздник скоро; а суп еще вкуснее

становится — суточные щи. Ничего столь же домашнего Учайкин давно не ел.

— Мне бы каких подработок, — говорит Саша, — что угодно... На сам праздник хочу фотографом устроиться куда-нибудь, а пока — не сидеть же.

В Москве последнее растратил: долги раздал, пленку проявил, купил пленку, опять проявил.

— Может, — говорит Аверкин, — плакаты по городу расклеивать? Вот, что стыд, за это и то больше, наверное, получишь, чем она насчитала...

— Стыдишься, значит, что жена не обманывает? А как до детей говорил? Только не надо, умолял, боялся.

— Э-э-э... нашла, что вспомнить. Это когда было, двадцать лет прошло.

— В восемьдесят пятом, если напомнить надо.

— Да помню я, как же забудешь... колоском торчал. Штаны у самого худые, за душой ни рубля, а колоском торчал, веселый, озорной.

— А я булочкой была, — Аверкина расхохоталась. — Это тоже на параде, Сань. Аграрное богатство республики изображали, еще при комсомоле.

— А в честь чего парад?

Аверкины задумались.

— Тоже что-то вроде Тысячелетия... Ой, ведь и правда, не вспомнишь... У нас проспект где-то был, мы тогда только гулять начинали. Где оно? Где рисунки, что ли, там лежит?

— Там, наверное, э-э-э... иди и посмотри, Саньк, а ведь Светлана, мама твоя... Там мы все познакомились, на параде. В комсомоле, э-э-э, то есть. А квартиры, соседями — это потом, вместе проще было выбивать.

22-08-85 Сонечка, души не чаю, хоть знакомы вторую неделю. Ты самая аппетитная бу...

— Не читайте, ну-ка, дай сюда, я посмотрю. Та-ак... Ну вот, все верно, пятисотлетие.

— Чего пятисотлетие?

— Чего-чего, праздника. Пятисотлетие Тысячелетия. Или безголовые оба, не понимаете?

Авер и Учай сливаются в одно: кин-кин-кин, уу-ха, кин-кин-кин; Аверкина, поняв, прежде смущается до влажности в глазах, но потом тоже заливается...

— Чего, дура, несу... праздник, конечно, пятисотлетия единения...

Но вдруг замирает, понимая что-то другое...

— Это что же выходит?.. Что двадцать пять лет назад отмечали пятьсот лет, а теперь тысячу?

3

НОВЫЙ РУССКИЙ, МОРДВИН

Через полгода, в канун Рождества, подарком чуть больше центнера в Саранск прилетел на личном самолете Депардьё. Спускается — ей-богу, центнер, — раскрасневшийся, дыхание сбивчивое, простенькая куртка нараспашку, душа якобы тоже. Уважаемый Жерар! — заголосил девичий хор... Как хорошо, что вы прилетели к нам в гости! Объятия главы республики. С ним Депардьё — момент — расправился и принялся по очереди обнимать девушек из хора, те смущались и фальшивили, Депардьё не замечал.

Такого ни глава республики, ни девушки из хора не видели никогда, разве что в кино. Как приземлился он сюда? Этот выхолощенный красавец, его самолет, невидаль среди заштатных трепанных АНов. Аэропорт SKX, имея в распоряжении кафе «Космос», ощущал себя на задворках этого самого «Космоса», какая-то пере-периферия. А тут: прием-прием, диспетчерская? Идет на снижение. Готовьте полосу. И устройте ему радушный прием.

Маленький белый китеныш манной небесной на изголодавшихся после Тысячелетия журналистов. Они его стальную плоть готовы были разодрать зубами, растаскать по редакциям, растиражировать, заголосить первыми полосами: хэй-хэй-хэй, смотрите, какой самолет к нам прилетел, кто на его борту! — но смелости пока не хватало. Они китобоями не были, они собирали падаль с берегов.

Главред сам примчался смотреть на Депардье, губы кусал на морозе: новый русский, блин, новый русский, — вертел на языке название статьи. Рядом уже поджидала несчастная Торама — состав, скошенный простудой, поредел, но погремушки бряцали резво.

Учайкин читал про все это в газетах и, продираясь сквозь газетное слово, представлял себе всю подноготную.

Депардье поднялся на сцену Оперного театра, хотел показать свой свежий российский паспорт, но, обшарив карманы, не нашел: оставил в пальто. Послал какого-то пажа, а пока стоял и смаковал аплодисменты. После — его обрядили в мордовскую рубаху, которая, огромное полотнище, еле на него налезла. Мало кто знал, что накануне на фабрике «Мордовские узоры» самые большие рубахи нашлись пятьдесят восьмого размера, а для Депардье шестидесятый — минимум. Пришлось Волкову последнюю вышитую рубаху с себя снять, французу отдать. Валенки сорок четвертого размера — вуалять! — и готов. В придачу к паспорту россиянина — шуточный паспорт мордвина и предложение прописаться в Саранске — без шуток, прямо так сразу квартиру. Беженец, конечно, не отказался. Большое спасибо, — разливался он по-русски, — что я стал мордвином... это большая честь для меня.

— Знаешь, — писал Депардье в мемуарах, — мне бы хотелось иметь домик, и чтобы в нем пахло сосной, и сосновые иголки кололи ноги, когда по ним ступаешь. Я отвез бы туда всю мою семью... а сам бы ушел, уехал к новым горизонтам. Куплю дом, обязательно куплю и увезу всю мою семью в этот светящийся воздух, на эту красную, теплую землю, под эти сосны...

— Знаешь, — отвечал Учайкин, — я ведь тоже хочу, очень хочу, но не в иголках дело. Хотя там они имеются.

На улице Депардье все выдыхал на мороз, переводчики еле попевали: да, Рождество — волшебный праздник, мечты сбываются, хотел в Мордовию — попал, теперь буду следовать традициям своей страны — России.

После — перед чиновниками саранской администрации сидел кумиром их молодости. Глава признавался, что в суровые годы перестройки он смеялся над одним только Депардье, больше его никто не мог развеселить.

— Мсье Жерар, для нас большая честь принимать вас у нас, особенно после того, как вы увиделись с президентом, поверьте, для нас это знаковое событие, ибо президент любит и уважает республику, а мы любим и уважаем президента, на последних выборах более девяноста процентов голосов мы, народ то есть, отдали за нашего президента.

Уи! — сладострастно урчал Депардье, — уи! Ваши женщины, о ваши женщины!.. Они так много трудятся — доят коров, но при этом так прекрасно поют и гордятся своей родиной, где нет ни нефти, ни полезных ископаемых.

— А вопросик можно?..

Учайкин прямо видел, как главред наверняка вклинился бы.

— Газета «Столица». Правда ли, что вы предложили мсье Жерару занять пост министра культуры республики?

— Мы действительно хотели предложить мсье вакантную должность...

*

— Это болото, — сладко тянул главред, качаясь на стуле. — Здесь время не идет.

Затягивался «Мальборо» — редкая минута покоя в редакции; рукава водолазки закатал — руки густо татуированные. Из Саранска, было время, он тоже сбегал, как и Сашка, в Москве жил,

но не смог — и в болото отсиживаться-отстаиваться, становиться кристально чистым; будто Москва — это чтобы опыта поднабраться, поднашкериться.

— Я тебе историю обещал?.. Слушай, Александр. Торчит вечно около мастерской своей, что под нашей редакцией, один скульптор. Назовем его Никуша. Мерзкий старикашка, однако ж, хотя негодай — спортивный, загорелый, с семью волосами до плеч и ходит в белой водолазке, как я. Короче, эффектно. Пришла к нему как-то студентка архитектурного на практику. Завел он ее в мастерскую, посадил на двупальную кровать, задернул багряные жалюзи и запер дверь. Вина? Спросил, раскупоривая бутылку, и девушка засуетилась. А он ей: не беспокойся, моя хорошая, я всех ваших знаю, пятерки одни будешь получать. Поозиралась на бронзовые бюстики, кровать и говорит: откройте. Скульптор поспешно вытащил пробку из бутылки и разлил вино по бокалам. Дверь откройте, — чуть ли не кричит уже девчонка. Ну, пожалуйста, конечно, — разочарованно так всплеснул руками скульптор, вино расплескалось в бокалах. Девочка — на улицу и бегом к нам на третий этаж, кричит: напишите про этого подонка статью! А что я напишу? Это, конечно, прикольно... хотя, конечно, не очень.

Знакомы Учайкину такие студентки-архитекторши, готовят проекты для города: наобум тычут карандашом в карту, обводят ровные прямоугольники в частном секторе и невозмутимым голосом — под снос! — и им плевать, что в этом прямоугольнике люди, их живые дома долгой в пять-шесть человеческих жизней, вишенки и яблоньки, которые своими руками сажали. Им главное сделать проект — выстроить бетонно-стеклянное чудовище, пока еще на бумаге, но когда-то ведь проекты закончатся и спрос пойдет с них. И то, под каким знаменем они живут, тоже знакомо Учайкину. Только мы знаем — где и кого снесут, где молоко на рубль дешевле; поститься от безысходности

и если куда идти, конечно, то пешком; русское спонтанное зодчество, пальцы колючие в клее от макетов, капроновые колготки не натянуть — сразу рвутся.

— И что ты думаешь, написали? Да нет, конечно. Но ты держи эту историю в уме, когда совсем нечего будет писать — напечатает ее. Вот такое, Александр, болото.

Есть на пути к городу отрезок, где настоящие болота проезжать. Впустую красиво, как бы ни для кого, обычно все с пренебрежением и грустью смотрят в окно: малахит зеленый с сиреневыми вкраплениями безымянных кустов. Озера в белой ряске, лесá — вздыбленными горами, такие густые, что мех, ни одного промелька на горизонт, меховая гора; или речка слепая, без амальгамы. Это был любимый учайковский отрезок пути домой, а потом поезд влачился по скучным долам с заброшенными ангарами, заводскими остовами, изгрызенными ржой, и элеваторами — без ржи, опустошенными. Там был один ангарчик, Учайкин всегда искал его глазами, на нем советским шрифтом значилось:

ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПРОЦВЕТАЮТ —

и жиденькая трава пробивалась сквозь кирпичные зазоры, прорастали одуванчики, светили своими умными головками; под надписью была другая, кислотно-салатовым баллончиком:

ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПРОЦВЕЛИ!

В этот раз Учайкин ее не увидел, закрасили. Но с озерами, с ряской, с болотами сделать ничего не могли — разве что пустить по курсу следования поезда забор с фотообоями. Впрочем, с заброшенными ангарами, заводами и элеваторами — тоже ничего: не оживили, не наполнили зерном. Да, удивительно, что без фотообоев.

Печати, нефритово-зеленый некогда Дом, прозванный Лезвием, а теперь облицованный белым и безымянный — пресс-центр Тысячелетия, их дислокация на три праздничных дня.

В буфете в ранний час оживленно как никогда: буфет теперь бесплатен; берите, господа аккредитованные журналисты, что хотите; ешьте, пейте; пишите хорошо — освещайте. Минеральной водички, «Инзеры», разлитой на ликероводочном заводе, а вечером чего покрепче. А официантка — их школьная буфетчица; Учайкин ее сразу признал, как сильно ни была напудрена; баклажанного оттенка волосы, незабываемые.

В этом коммунистическом буфете ему сразу вспомнилось — их с финкой оборвали на полуслове, ничего ведь она не успела, безымянной осталась — тоже лезвие; начальница втиснулась с гремящим чаем и принялась рассказывать про устройство купе СВ. Он начальницу не слушал — участвовал в перестрелке с финкой, лезвие ее взгляда приручал и под ламповый свет выманивал ее улыбку.

На первой полосе последнего выпуска «Столицы» она же была, в окружении делегации. На столе главреда Учайкин увидел эту газету, выходил из кабинета — и все кружилась она у него на уме: то сальто сделает, то, босая, прямо по пупочному канатику пройдет — и мурашками рассыплется. Бах! — врезался в коридоре прямо в Чернавина, предводителя дворянства Мордовии, — стал извиняться, что помял бумаги, которые тот трепетно нес на вытянутых вперед руках, как только что спеленатого младенца, проект памятника.

Чернавина он искренне и непонятно почему любил: в Москве предводитель приглашал к вырождающемуся дворянству — в сочувствующие.

Про этот проект и Аверкины рассказывали: ходит предводитель по городу, собирает подписи за памятник в честь годовщины победы двенадцатого года; как-никак, и сейчас

двенадцатый год, двести лет прошло, как-никак, от республики четыре полка было... Зачем еще один памятник, — возмущался Аверкин, — пусть лучше деньги нуждающимся отдадут. Например, нам, — предлагает Аверкина и удивляется, — ну а зачем памятник, кому, Чернавин сам себе памятник хочет? И опять смех-пересмех.

Данька после матча с ЦСКА вернулся домой с записанной рукой, и фломастером рисовал на гипсе Соколов; он их ждет с детским нетерпением — истребителей, обещали же прилететь. Радостно мальчишке, что одна рука у него теперь такая, — будет собирать подписи окружающих, прямо на гипс, вот и Сашу попросил. И Чернавин попросил: подпишись, — все в том же коридоре «Столицы», — подтверди, что свой голос отдаешь за памятник.

— Свой голос ни за что не отдам, как-то неравнозначно. Но закорючку свою поставлю, пусть будет. И памятник пусть будет. Слушайте, Вадим Викторович, а я с вами к главреду прямо сейчас снова зайду, забыл у него кое-что.

Главред просит Учайкина: ну-ка, Александр, ты задержись, мы ведь про аванс, про фотоаппарат с тобой не поговорили, не на полароид же будешь, зеркалку выделим, раз ты родченский, да я тебе свою дам — только щелкай, короче, много про что поговорить надо.

Дворянин по природной своей чуткости, извиняясь, уходит.

Главред перестает качаться на стуле...

— Не хочу выражаться, но это болото мира. Как ходил дядька Вадька с памятником десять лет назад, так и будет ходить, — вздыхает, пирсинг в его брови наливается несостоявшейся слезой. — Ну а что мне ему сказать? Другой вот, ходит — хочет поставить модель саранской крепости. Реконструкция, видите ли!.. И куда ее ставить? Ленина на площади снести? Тогда уж и Белый дом, и полгорода, потому что полгорода на ее месте построили. Вон — на набережной мордовское подворье,

армянин его держит, мы писали про это. Хорошо он с этого подворья зарабатывает — вот как надо строить. А Чернавин... Бескорыстный и нежный Чернавин. Нравится мне эта провинциальная интеллигенция... Но поделаться ничего не могу. Предводитель дворянства. Да какое дворянство в Мордовии? Полтора человека. Оксюморон, твою мать, а не дворянство! Извини, Александр, ничего личного к твоей матушке, она наверняка была хорошей женщиной. Или вот, Бахмутов — интеллигенция, блин горелый. Но здесь нефиг делать умным людям. Да, Бахтин у нас жил, чалился столько-то лет. Но ведь его сюда сослали! Сам бы он ни за что не поехал, нефиг. А куда здесь? В институт, в газету, в захудалый пресс-центр какой? В пресс-центр даже хуже всего, это как похоронное бюро: о клиенте либо хорошо, либо ничего. Поэтому здесь — ничего. Ты и сам видишь, что печатаем... Изнасилования, если докопаемся. Поножовщина, кражи. И НЛО, черти, прилетели. Вот так и живем — от НЛО до НЛО. Болото, ты и сам знаешь. А теперь бери, чего ты взял, и вали отсюда. Аванс ты и так уже получил. И чтоб снимки живые щелкал, этим брать будем. Картинками, натурой-дурой. Альбом иллюстрированный выпустим, хах. Понял?

Понял, раз финка на первой полосе. Имя ее внутри статьи, вот и познакомились — Хелла Турккила. Вот она — да! — заключил Учайкин, стоя в очереди. Пирогов, пожалуйста, с яблоками, — попросил у школьной буфетчицы; по ее глазам понял, его не узнала.

*

Учай? — окликнули его в тот же час в Доме печати. Влад Вирясов — одноклассник; никогда не дружили, но такого, чтобы на разных сторонах бывать, тоже до этого часа не случалось. Влад тоже на журфаке МГУ, только мордовском. Тоже в газете, на десятом этаже этого самого Дома, то есть вроде как ситуация патовая: лютые конкуренты. Но они на славу посмеялись; а еще

больше посмеялись над «Измором», когда Вирясов расшифровал — «Известия Мордовии»; так и сдружились. Вирясов — Учайкину: как статейство ненавидит, эссе строчит, каждый год обсуждается со стариками на съезде молодых писателей республики, но публиковать его не собираются — вот писал бы на родном — то есть на одном из мордовских, — тогда, может, собрались бы. Но он ни одного не знает.

Как-то на съезде заседали, в кабинет влетел один из Союза писателей, говорит: валске марто, тевялга!⁸ — все так и побледнели, не зная, что ответить. Шумбрат! — выпалил за всех Вирясов. (Ты на нашем говоришь?) Встрепенулся, воссиял. Вирясов молчит. (Говоришь или нет?) Вирясов молчит. (Глухо-немой, блин?) Вирясов сквозь зубы: монь тонь не понимонь. Тот развернулся: э-э-э! — а ведь значимая особа в союзе — махнул на них рукой и ушел, оставив без премий.

Лезвие. Когда-то оно обоих — Сашу и Влада — притягивало, стояло как на ребрышке. Их отправляли от школы дождливой весной последнего класса на очередную лезвийскую конференцию — и на небе, на асфальте, на домах мокрым отпечатком для них значилось тревожное состояние: мальчишек ждали экзамены. И военкомат их ждал нетерпеливо. Тучи все бежали и бежали в своем пасмуре, а у одного края неба, к горизонту, словно небесная краска с макушки стекала, и казалось, что зальет струями весь город. Чуть они подбежали к Лезвию и закрыли зонты, им навстречу выплеснулся бородатый мужчина и спросил: стихи пишете, молодые люди? Вирясов сказал — да, Учайкин — нет.

— А я думал, ты говоришь...

— Нет, не говорю, даже не заикаюсь. Если б говорил, стал бы в русской газете?.. Пошел бы в «Чилисему» или «Якстере Тешкитине» и требовал бы зарплату как за десятерых русскоязычных. Ты чего смеешься?

⁸ Валске марто, тевялга! (эрз.) — Доброе утро, коллеги.

— Знаю, что чилисема — это восход солнца, а якстере тешкитине — красная звезда. И это разные названия одного и того же журнала до девяностых.

— Видишь, ты лучше меня эрзянский знаешь.

— Просто это оказалось несложно запомнить. А еще... Помню, звездой ты у нас был в школе. Статью про тебя как раз в «Чилисема» помню.

— Раз уж об этом речь зашла, заметил, что буфетчица — это наша, школьная? А знаешь что, я ведь в девятом по ней с ума сходил. Да она и сейчас ничего, молодая еще вполне. На сколько нас старше, лет на восемь... семь... шесть?

— Да, наверное, восемь-девять.

— Только к ней сейчас и не подойдешь, раньше такой дурнушкой была, а сейчас...

(И сейчас, — уныло подумал Учайкин, — как ни гримируй.)

— Может, замуж вышла?

— От замужества краше не становятся. Нет, это их к Тысячелетию приодели, под европейский стандарт. Ну, знаешь, вот и на Коммунистической твоей, на верхах, все частные дома зеленым выкрасили. Я думал — вот это да, как соседи договорились в один цвет... а потом понял. А сколько снесли в честь праздника! Архитекторы городские, архитекторши — прекрасные и беспощадные.

Учайкин понял, куда Вирясова клонит: в старшей школе Саша гулял с одной, все знали; она была чернявой, и к сорока годам ее ждали усики, его Ирина — сумрачная подводная Субмарина (он ее так и звал — Риной) — собиралась на архитектурный. Все вечера с ним проходила его улицу насквозь, но даже за руку при людях брать его не смела. Идут однажды и замечают — вот дом сгорел, а только на прошлой неделе стоял нетронутый, ставни резные, стены изумрудно-синие, а из окон — смех и непроглядные утробы синих комнат. Теперь — горелый пряник, на обугленном подоконнике притаился маленький

котенок. Рина его как шуганет!.. А вообще, была тихая-тихая, сама в таком же деревянном домике жила, зимой на нем сосульки любили расти. Есть такие кадры у Саши Учайкина в заглавных кадрах памяти.

— Вообще-то, Влад, я всегда думал, что частный сектор — это низы, а не верхи.

— На четырнадцатом живешь, вот тебе и кажется все низами. А знаешь, что теперь самое высокое у нас?

— МГУ ваш, что ли?

— Да, видел ведь? Сложно не увидеть.

— Видел. Как бы тебе поддипломатичнее... Хорошо в мировую картину пытаетесь вписаться. Университет как наш главный корпус.

— Наш? А-а, да, ты же теперь москвич! — засмеялся Вирясов. — Ну, значит, москвич, будем видеться здесь пару раз в день, в бесплатном буфете? А сейчас я — на репетицию парада. А что? Что смотришь? Курим — свои сигареты, пьем — свое вино, едим — да, едим общественную еду — мы неприхотливы.

*

У него кровь вскипает, когда он слышит стальной рев, сотрясающий воздух, раскаты соколиные.

Воздух от них дрожал, сердце металось; один так низко пролетел над Домом печати, что Учайкин радостно отметил: упадет — впечатает. Рядом щебетали, что в центре ночь в квартире стоит десять тысяч рублей, сумасшедшие деньги! Весь женский журналистский коллектив тотчас согласился поселить у себя какого-нибудь венгра. Странно, — думает Учайкин, — как же отец не вселил к себе целый табор. А, может, плохо ему? Может, помощь нужна какая? Где искать его, на «Электровыпрямитель» идти? Туда — нет, ни за что: тиристоры, преобразователи для систем возбуждения, светодиоды. Да какой

светодиод, сущий с в е т о и д и о т . Все это отцово токарство и товарищество вечерних выпивох. Его заводская карьера шла по пути обратной прогрессии: из главного механика в техники на подхвате.

А отец десятилетней давности — это «Звездные войны» в старом кинотеатре «Победа» и ежезимний спидвей на «Светотехнике»: фотоны искрящегося снега и ярчайшие цветные прожекторы, которые он же, отец, делал у себя на заводе. Билеты на стадион не покупали — не тратились, смотрели в заборную щелочку; и все видели. Это потом щелочку залатали, а стадион, конечно, снесли, это потом...

Свет и блеск на тысячу люксов в центре города — а в подъездах, как всегда, освещение такое, что нуар. За угол завернешь, во двор углубишься — тоже как всегда: дети бегают, катаются на велосипедах, рвут жилы качелям, учатся у старших материться, выгуливают кукол и ручных черепах. Газоны во дворах гуще, чем рулонные, похожи на клочковатые бороды, черепахи задорно их кромсают; и все задорнее и живее как-то, чем под гнетом вылизанных стекол. Детские площадки — да, малышне пока что площадки, но скоро и все площади мира им, — засыпаны песком, заставлены куличиками — у них вечная Пасха, непреходящая. Когда нарастают крылья счастья, тогда и площади отрещиваются от своих безумств, но только тогда. В остальное же время на площадях тоже играют, но иначе: митингуют, агитируют, маршируют.

На площадь людей сгоняют из своих каморок — всех на генеральную репетицию парада. Студентов — под предлогом незачетов, чет-нечетов, решения их судеб и дальнейшего трудоустройства. Учайкин рад: он же не мордовский студент; опомнись, — доносится внутренний голос, — не сгонят здесь, так сгонят там.

Бесповоротно улицы перекрыты до следующего дня: длинная такая, как похоронная, процессия. К Дому печати не пробежишь

и будешь стоять и ждать, пока пройдет вся колонна, а это часа на два, прерывать ее нельзя. Но Учайкину это как бы невдомек: обойти колонну он не успевает, ждать не хочет, поэтому идет. Сам же снова рад: это ведь даже не против, а поперек. Это с той степенью искренности, когда куртка нараспашку — тело вспорото до душевных глубин. Но вывернись перед всеми наизнанку, вынь сегодня свое сердце — не хватанули бы его на трансплантацию престарелому олигарху?

Он поперек, а студентки ряженные не хотят его пускать, затягивают в свое течение, русалицы, трубадурки, щекочут — бесстыдницы, совсем им заняться нечем в этом городе, исполнительницы на автопилоте: что велят, то и делают. Только и забав: за полночь из клубов ехать на такси, а таксистам — гулен этих развозить.

С тем же остервенением, что Учайкина увлекали вглубь, с тем же остервенением полируют окна на улицах, чтобы приветственно сияли на ту самую тысячу люксов. Из репродукторов льются частушки, все здороваются друг с другом, потому что весь город давно перезнакомлен; кто мог — передружились, переспали, переженились. Рина... Ведь их что-то поначалу защищало, берегло, но нежность их лакированных встреч скудела — на каждом перекрестке знакомые, а наутро новые сплетни. И в Москву Саша уехал с двойным облегчением, а о Рине стал думать не иначе как о той, кого необходимо обратить. Он ее вытащит из Саранска, а пока пусть так; но первый, второй, третий и, наконец, четвертый год учебы так обоих закрутил, что они позабыли друг друга. В Москве Саша узнал, что такое женщина — каким бархатом она выстлана.

Ему было совсем невесело от частушек, у окружающих — ни мысли, что даже эрзяне с мокшанами всегда порознь были: у мокшан — мокшанский царь, у эрзян — эрзянский князь. Драли друг друга только так, скальп снимали, на колы

гостеприимно насаживали — без конца и без края, без конца и без края любя.

Журналисты загипнотизированы процессией из окон Дома печати, бутерброды заканчиваются. Учайкин с Вирясовым, пробравшись в буфет, лениво наблюдают старый «москвич» около гаражей и невесту с женихом. Она пятипудовая, необхватная, в пышном платье. Он тощий, в смокинге. Сидят на бампере и терзают пиццу прямо из коробки.

— Вот на какой машине приехали, голоденюшкие. А на параде в лимузине поедут, — говорит, зевая, Вирясов.

Жених с невестой доели пиццу и, смеясь, уехали туда, где все дороги были перекрыты.

*

Музей Степана Эрзи на Коммунистической. Эта улица — артерия, на ней в таком порядке, будто нанизаны на линию: квартира отца, Главпочтамт, музей, главная гостиница, где живет Хелла, и кладбище в самом конце.

Музей оштукатурен, выкрашен свежей краской, цвета поникшего зеленого. Праздник закончится — штукатурку сдерут, разберут по кирпичикам, дело известное, реконструировать. Людей деревянных, скульптуры Эрзи, временно спрячут в запасники, разлучат друг с другом.

Учайкин наспех отщелкал открытие выставки в музее и пошел в оперный театр, зачем он нужен здесь, театр оперный, цвета кумача, бывший Дом политпросвещения. Оно, политпросвещение, как набухшая опара, вышло из стен этих через край — и пошло по улицам. Тут каждая плиточка тротуарная теперь — политпросвещение.

Около оперного Саша садится на первую же скамейку: весь день бегал, как умалишенный, щелкал, и фото такими же получались. Персонажи, подловленные им и заключенные в черную коробочку зеркалки. Схлестывающиеся взгляды, вышитые

узоры и жара, несусветная жара. Солнце, такое долгожданное солнце, словно приманенное на этот праздник, подкупленное. Его, солнце, правда, все чаще загоразивали депутаты — все как один в ослепительных рубашках. От таких и в солнцезащитных очках не спасешься. Каждый — видом своим выпиливает, что он — свет, что он на солнце извечно-сущий, единственный. И все равно каждый знает, что другой на его солнце гуляет и что для него это — то же самое.

В квартире свет отключили, как следовало ожидать, на день раньше. Саша нашел в квартире парафиновые свечи; а на аванс из «Столицы» (задолженность он не стал погашать — не хватило бы) купил ящик фейерверков. На перекрестке Ботевградской и Коммунистической его остановили, усадили в автомобиль и провезли полквартила в МВД, в антитеррористический отдел. Где в одном из сотен кабинетов на столе уже сидел Кечин: хотелось расслабить галстук — не расслаблял, сидел наглухо застегнут и не мялся, поначалу думал о своем. Дома была беременна и вот-вот должна была разрешиться абиссинская кошечка — куда добро такое девать, не топить же, породистые, наполовину. Его разбудил опер, сидевший за столом:

— На кой хрен так много?

Кечин глянул на него мельком, тот поправился:

— Обозначьте причину покупки пиротехнических средств в таких количествах.

Учайкин молчал. Он смотрел на этого, как тот потом представится, Кечина, и тот казался ему хорошим и — что самое ужасное — давним знакомым. Где же, где он видел эти крепкие бойцовские руки, принадлежащие, наверняка, пехотинцу. Где он видел... В первый же саранский день, когда Кечин проезжал около вокзала двадцать километров в час и неотрывным взглядом гипнотизировал армейцев; Учайкин тогда подумал, что они вереницей за его иномаркой потащатся.

Вечером того дня на самом матче Кечин тоже присутствовал, сидел в ВИП-ложе, непроницаемой для взглядов, так что можно считать, и не было его там. Зато Аверкины даже после матча оставались в поле видимости Кечина: в отчете, пришедшем в его отдел, засветились.

12 тысяч на трибунах, 1658 сотрудников, 500 частных охранников.

Изъято: 6 трехзарядных ракетниц, 34 аэрозольных баллончика с краской, 56 баллончиков со слезоточивым газом, 60 фаеров, ножей и балаклав — всего около ста единиц.

К административной ответственности привлечено 15 человек.

Пострадавших...

И тут — двенадцатилетний Данила Аверкин, сломавший руку. Кечин был доволен: молодец пацаненок, дал жару армейцам. Он не знал, что сын его сослуживца ни с кем не дрался во время затейной битвы на стадионе, просто оступился и сиганул с трибуны. И теперь Кечин не знал — а фейерверки эти дурацкие, а они-то зачем; но поступил сигнал прореагировать, и его отдел прореагировал. По городу плакаты: панда, нафаршированная тротилом. Ваш взгляд — не рентген, и продавцы пиротехнических и оружейных с особым кайфом доносят на своих покупателей.

Учайкин все еще молчал. Теперь уже Кечин — откуда же ему знаком этот паренек, екарный бабай, да откуда же! — не находил мысленного покоя.

— Фамилия?

— Учайкин.

А-а, теперь ясно, все ясно; он уж было хотел сказать: ребята, пш отсюда, мой; ну, Санька, как папаша поживает?.. И слезть со стола, подать ему руку, пригласить за стол. Сынок, не голодный?.. Но вместо этого он сказал:

— Имя-отчество, пожалуйста. Возраст. Род деятельности. Цель покупки пиротехнических средств.

*

Мертвыми... — думал Учайкин около оперного, сидя на скамейке у фонтана, — и то лучше будут выглядеть, скрестивши лапки, как шпаги, — думал о воробьях. Голуби вились у его ног, фонтан ворковал, убаюкивал крошку-учая, или Сашу, или Александра Николаевича. Кечин еще со своими расспросами вспоминался. А как Саше хотелось поменяться с ним ролями и самому задавать: а зачем вам дворцы такие; какие грехи отмаливаете в построенной часовенке; куда на служебной иномарке катаетесь? По-мальчишески хотелось. Но если б вспомнил, что мальчишкой немного знал Кечина, то другое спросил бы.

— Зачем пиротехника, я вас спрашиваю?

— Теракт ждете? — соколился Учайкин.

— Я тебе устрою теракт!

«Вы — устройте, — подумал, но не сказал, — вы всегда и устраиваете».

Не хватило воробьиной смелости сказать.

В бывшем Доме политпросвещения кто-то стоял на сцене. Приученные за семнадцать лет чиновники встречали этого кого-то затыжными овациями и не могли остановиться.

— ...мы были частью государственного ядра, которое ковалось в Москве, суть этого процесса тонко понял президент, отметив, что тысячу лет назад Русь стояла на пороге государственности, и мордовский народ сделал свой выбор жить и развиваться в общей стране, и все эти века была огромная потребность во взаимном узнавании друг друга.

Потом голос подал кто-то другой:

— ...мы впервые придумали тысячелетие Казани, но Мордовия пошла еще дальше. Придумала и раскопала тысячелетие дружбы народов, тем самым еще раз показав себя в интеллектуальном плане и доказав, что все мы — Россия. Вы построили столько объектов, что мы с завистью смотрим на них

и радуемся, что республика становится лидером Поволжья. По итогам олимпиады Мордовия заняла первое место по золотым медалям на душу населения. Нам, с почти четырехмиллионным населением, здесь за вами не угнаться. Ходоки принесли вам международную славу, но я всегда говорил, что ваш главный ходок — это... (овации). Который опережает всех на длинной дистанции в федеральный центр, где главной наградой являются деньги.

Учайкин продолжал греться на солнышке, идти на пленарное заседание в оперный ему вовсе не хотелось, само это здание вызывало у него приступ астмы: десятью годами ранее в подвалах Дома политпросвещения были соляные комнаты, куда малышню сгоняли лечиться от простуды. Сейчас эта малышня соль по-другому нюхает.

Чай-чай-учай, — корил себя Учайкин, — согласился, что да, Тысячелетие, и приехал. И теперь не просто наблюдает, а еще и освещает, а это совсем уже другие ракурсы. Он как фотограф знает, что освещение творит чудеса. Хорошо, что снимает, а не пишет — это было бы для него невыносимо; слову он не доверял куда больше, чем изображению. Слова, чтобы правдивы были, их раздевать надо, а не раздувать. А в газете слово всегда раздутое, фальшиво-печатное, приторное, как тульский пряник. Вот что бы он написал? Хочешь отстоять свои интересы — скажи, что они общественные. А вы все бы купились. Но ведь это и так все знают, зачем про это писать? Хотя, может, и стоит писать, раз произнести вслух не смеют. Не смеют, как его Рина не смела. Его сумеречная, подводная...

Он хотел поставить себя в цугцванг — безвыходное положение — вопросом, зачем же все-таки он здесь? Но к оперному подъехал автобус. Учайкин поднялся в автобус. С ним еще человек пять, незаметно томившихся у фонтана; автобус двинулся полупустым в сопровождении четырех полицейских машин.

По перекрытой дороге, по левой полосе, центр позади, вот уже по низам. Люди высовывались из деревянных своих домов, чтобы посмотреть на них. Конечная «Экспоцентр». Сошли, как с трапа, только мордовские ходоки оказались первее, чему, кажется, не были рады. Что делать в Экспоцентре — макеты построенного, картонки разглядывать. Куплеты поются на каком-то электрическом тоне. Самые красивые студентки в мордовских платьях, самые красивые из тех, что на лето остались в городе. Пели: седиезе монь аф кирди, алян-тядянь крайть аф шнамс эрь да мон, мон аф бокста, аф ширде... Неважно было, что это значит. Шептались: ну что, едет, едет он? Бывший глава. Почтовые марки гасить в честь праздника, но где их было достать — нигде их не было, ни в одном киоске. Учайкину в недолгом сне привиделось, что марок сделали двести пятьдесят штук, и они в одночасье разошлись. Сон не воплотился: погасили пять марок, всего пять, остальных послали гасить на Главпочтамт.

Изменился глава: высох, похудел, поистрепался, стал похож на драного лиса, а раньше был маслянистым, с кошачьей хитрецей. Когда он проходил рядом с Учайкиным, тот ему от жалости кивнул, и глава кивнул, видимо, тоже от жалости. Послали его под старость на волжский берег, где холодно и сыро, куда нужно своих свозить, потому что чужим довериться нельзя. Цедит глава хмельную позу и сквозь зубы прогоняет задуманные слова: я теперь оттуда, так что будем прорастать друг в друга, будем дружить.

Не тужить и добра наживать. Наживать — привычнее всего.

Конца Учайкин дожидаться не стал — отщелкал меркнувшего главу республики, повеселевших ходоков и самых красивых студенток из тех, что остались на лето в городе. И в гуще людей вдруг увиделась ему светящаяся белокурость, ее финский профиль. Он побежал, вооруженный фотоаппаратом, на бегу сделал

несколько кадров, но она стала в гуще теряться. Тогда Учайкин заметил среди всех Вирясова и подошел к нему.

— Привет, слушай, — говорит, — та компания — кто это такие?

— Привет, финны.

— Понятное дело, что не мордва. Специфика их работы в чем?

— Ну, ученые какие-то, Учай. Этнографы, что ли... или дипломаты... фиг их поймешь, если честно. Мутные какие-то.

5

Как получил ответ от Вирясова, уехал из Экспоцентра на попутке домой — требовалось выспаться, посвежесть, чтобы вечером, надев белую отцовскую рубашку, пойти в театр на премьеру мордовской этно-рок-оперы. Выбрать лучшее место, прочитать либретто, написанное на четырех языках, порадоваться русскому и взгрустнуть торамскому несчастью — все талантливое в республике в раздachu пускают.

А она не пришла — зря выглаживал рубашку, в центр сядил, блондинок удил и отпускал. Не та, нет, не та.

Сон его кружит. Кружиться — крови беспечно: в день грядущий этно-рок-оперы нет, как и веры. Вино дешевое из бумажного пакета, много вина, чаек, желание смерти. И опять, чтобы была в его руках — иначе говоря, хотя бы у него на виду. Чаек и вино, от огорчений ничто не застрахует, как ни проси. Его тревожит не смерть, а сам процесс умирания: степенность, облысая тьма, как падаешь в нее, и — совсем лысое и голое. Забыться. Сюда он так не хотел возвращаться! Как и всякий раз — боялся не застать. Приехать — и никого не найти, ничего. И ведь не застал... Не успел, времени не хватило, и привело к катастрофе, к марсианским кратерам, впалым щекам. Теперь только — маму схоронить, отца спеленать. Арасян, арасян, араселинь.

*

На следующее утро голову сжимали тиски огромного невидимого орехокола. Учайкин безостановочно пил в буфете минералку «Инзера», в скрупулезной задумчивости пребывал, по крупицам собирал финку, школьные годы, так и не проявленные негативы, — несколько раз облил брюки... Вытирать руки фирменными салфетками как-то совестно было, лучше сохранить: так и разойдутся по коллекционерам и детям буфетчиков, которые лет через сто — если салфетки не истлеют — все равно на салфетках не наживутся.

— А ты был у них? — расколол его Вирясов.

— У кого? У финнов-то? Был, — неожиданно сказал Учайкин.

Чай-чай-чай, зачем выдумывает, нигде он не был дальше Ленинградской области. У него перед глазами растянулись экраны, на оглушительной морозной белизне которых прорисовывалось... Увидит — подойдет и все скажет, но правила приличия... Вымарывать такие правила приличия из человеческих кодексов!..

— Был, был — и больше ни ногой. Тоска там зеленая.

— Что же там такого?

— Нечего там делать. Все как неживое, леса как не наши — голые, высокие. Что тебе рассказать? Людей мало, велосипедов много. Свежо и не за что ухватиться. В общем, у меня о Финляндии образ как о земле без ничего. Но если у тебя много денег, то все расцветает. А денег у всех много, делать нечего: закрываются в квартирах и спиваются. И я бы там на стенку полез, пополнил бы их статистику самоубийств.

— У нас тоже...

— У нас другие причины! У них же все законно: пенсии, льготы, выплаты. Миллион наших собратьев на все готовы, чтобы получить их гражданство, отсидеть себе зад в какой-нибудь конторке, а потом исправно получать пенсию, на которую можно каждый день пить дорогое вино. А под конец и каждый час...

— Разве это плохо?

— Да что же в этой лживости хорошего? С нами хоть все ясно. А там... Думаешь, что все замечательно, ведь трамваи ходят по расписанию, а кондукторов билетик проверить — нет...

*

К полудню бывшее Лезвие заточается до невозможности, острее острога. Разорен холодильник с минералкой, и журналисты выдвигаются в центр. Учайкин пока не пришел в себя, к нему пристал один с расспросами: из какого агентства — ИТАР-ТАСС или РИА «Новости»? На что снимаете — Canon или Nikon?

В два часа дня в буфете появляется Вириасов, наконец-то, Влад. Весь как хипстер — очки, фотоаппарат, блокнот — перед буфетчицей, что ли, красоваться? Прилетел! — заявляет и уходит; его буфетчицы все равно нет, не ее смена — она на парад завербована за свое чисто мордовское личико в первых рядах идти.

На улице каждые три–пять метров — и человек в спецовке убирает павшие на газон листочки. Три–пять метров — человек в белой рубашке буравит взглядом. Те, что в рубашках, так струнно они натянуты, что даже от жучка, изволившего на щеку сесть, не отмахнулись бы.

По его улице-артерии — как они с Риной когда-то насквозь — так пойдет парадная процессия. Три кордона охраны с воротами металлоискателей по три раза. Всюду его пропускают, только один раз про объектив спрашивают, что это? — оптический прицел, — проходи, шутник. У Главпочтамта уже не протиснуться. Сколько стариков и детей, Учайкин не поспевает щелкать: близняшек, ветеранов в орденах, мужчину в инвалидной коляске — телом похож на ребенка, кисти рук белые-белые, длинные и немощные, перекатываются медленно, как лодочки. Его руки — вот что Учайкин отщелкал в нескольких ракурсах, так они его поразили. А главред наверняка скажет: это еще

зачем?.. Еще мальчишку — с большими рыбьими глазами, он обнимал маму за талию и за бедра, как теленок, тыкался лбом в ее ногу; в нем особенно отражалась мучительность ожидания.

— Где... — спрашивает у полицейского, сосчитав звезды на погонах, — будет он сидеть?

Тот смеется как бы о своем, а потом посерьезнев:

— Вам зачем?

— Я журналист.

— Вон на той, — показывает на богато украшенную трибуну.

Надо на ту сторону, поближе к президенту, — со стаей в галстуках переходит Учайкин, но дойдя до разделительной полосы, чувствует неладное: за ним бегут полицейские, особенно старается тот, к которому он с вопросом подходил.

— Куда, откуда разрешение? — окружили, схватили, руки заломили.

Отличное реагирование, и в рацию: к трибуне, срочно.

По зову прибегает один — высокий, рассыпчатый, звездчатый, — уводит Учайкина в нейтральную зону.

— Он с болгарской делегацией, хотел под их прикрытием, — жалуются сержантики.

— Кто вы?

— Журналист, написано же — пресса.

— Журналист? Провокатор! Имя?

— На бейджике написано, — и вдруг смекает, — к Кечину, Андрею Палычу повезете? Привет передавайте от Александра Учайкина.

Рассыпчатый:

— В рюкзаке у вас что?

— Оптический прицел.

— Шутить — за пределами республики будете. А привет передам. И чтобы глаз не сводил! — сказал молоденькому.

Неприятно было Саше иметь телохранителя, жутко хотелось врезать ему, но тогда встреча с Кечиным точно заказана — и конец

его Тысячелетию, Кечин второй раз с ним нянчиться не станет, кто он ему такой.

Час-другой — и пошло-поехало по ходу истории, ее гремящей поступью, неутомимым шагом. Конницы и войны, кареты и дамы в кринолинах. Полежаев, Огарев под ручку с Герценым, Сычков под ручку с отцом, Эрзя в одиночку и Бахтин в одиночку. Пионеры, подгоняемые организаторами: веселее, быстрее, веселее! Кремль проехал на колесиках с огромными буквами М О С К В А. Кремль под колесом КамАЗа таил пушки, и они бабахнули, выпустив миллионы маленьких золотых блесток — все зрители и полицаи стояли в этих блестках с глупыми лицами. Выплясывали девицы в гжелевских костюмах вокруг громадных самоваров. Брели ангелы с нимбами из проволоки и белыми орхидеями в руках. Темнокожие ребята в цветастых одеждах размахивали флагами своих стран — африканцы с медфака. Ехали на лимузинах подставные молодожены, та смешная парочка, по сценарию они должны были целоваться, губы от поцелуев уже сводило. Замыкали гремящую змею финно-угры: финны, венгры, саамы, коми, ханты, манси, удмурты, карелы, мари и мордва. Да, в арьергарде — мордва — среди всех Аверкины, счастливые до умопомрачения, колосок и булочка.

Президент все это безобразия не видел, он тем временем обходил объекты Тысячелетия: площадь, стадион, театр оперный. А потом — к холму за Саранкой, где поджидала сцена и куда, по округе, вся эта процессия стекалась. Он поднялся на холм, сказал что-то незапоминающееся — и уже с холма... Юные трубадурики и самые красивые студентки из тех, что остались в городе на лето, поджидают его, чтобы принять в объятия, музыканты сразу стали голосить: а-ну, давай-давай, ня-ривай! — президент бросил в толпу несколько воздушных поцелуев и был таков.

Двадцатью минутами позднее он сидел на заседании Госсовета в Доме республики, просил подавать любые идеи, кроме

откровенно экстремистских, и подумать о мигрантах. Что вы предлагаете принять? — спрашивал у первого докладчика. Тот растерялся: целевую программу, а то выборы приходят и уходят, а осадок остается. И в мертвецкой тишине добавил: осадок от экстремистских лозунгов. Сколько стоит программа? Да сумма небольшая, — заверил докладчик, — пятьсот миллионов, конечно, всего лишь рублей.

Да-да, хорошая тема, а нас ни разу не оскорбили, даже намеком, — уверял мэр Саранска, рассказывая, как по стране проходили дни мордовской культуры.

*

— Если мы встретились с президентом, — говорил Депардьё, — если с первого взгляда признали друг друга, то это потому, что мы оба могли кончить на дне. Я думаю, ему сразу понравилось во мне именно это, моя хулиганская натура — что я могу помочиться в самолете, боднуть в живот папарацци, что меня подбирают мертвецки пьяным на улице. И я, разговорившись с ним, понял, что он тоже вышел из низов и что за него, как и за меня, никто не дал бы ломаного гроша в пятнадцать лет. Мы оба чудесно спасенные, он — от бомб вермахта, я — от вязальных спиц моей матери.

*

Когда мимо проезжала МОСКВА, Учайкин понял, что на этой трибуне президент не появится, его обманули — значит, он не успеет поймать и заключить его в коробку фотоаппарата. Или все-таки успеет — но тут либо прямо сейчас бежать к холму и забывать про ждущего его Даньку, либо...

При окне и живом виде с четырнадцатого этажа Данька смотрел шествие по телевизору. Конечно, трансляция была с опозданием перед реальным временем: из окна уже хвост, а по телевизору только начало.

— Старик, ты бы на мать с отцом хоть из окна посмотрел бы.

— Мне их по телеку приятнее увидеть. Санька, распишись на гипсе. И нарисуй что-нибудь с парада. А потом полы помой, мама велела, а то живешь как в пещере.

— А накормить тебя мама не велела?

— А что у тебя есть?

— Сейчас посмотри. Как ты справляешься одной рукой? Картошка вот есть, но ее чистить надо.

— Я уж привык, и в футболе руки не нужны. Картошку — научусь зубами, а еще...

— Ну, уж это тебе не голы забивать.

— ...вытренируюсь, в нашем ФК поиграю. Потом в какой клуб, может, возьмут. Эх, я б у вас в «Лужники»!.. Эх, сходить бы посмотреть. А лучше — сыграть.

— Хочешь в Москве жить?

— Угу, здесь точно не буду. Как брат — в Нижний, но лучше сам собой — в Москву.

— Думаешь, хорошо там будешь жить?

— А разве нет?

— Будешь, — спохватывается Учайкин, чего это он мальчишке говорит. — Будешь, конечно. Иди сюда, Кремль тебе нарисую, зубастый. Во какой, видел!

6

— Санька, подгорает. Санька, маму вижу! — очнулся Учайкин, да не туда. Кроватка с высокими бортиками, от отца гарь, он пытается засунуть ему в рот ложечку с чем-то горьким, кроха-учай не сдается: крепко стискивает зубы. Мощное снотворное, никак не для детей — кроха-учай будто знает, что этот сиропчик погрузит его на полдня в небытие, а он никак не хочет в небытие, он хочет скорее жить, ручонками за бортики цепляется.

Одна только Хелла.

Людей не пускают домой, за хлебом не пускают. Хорошо, что без автоматов. Расчленили весь центр на секторы, скобами железными границы обозначили. Всем раздали пропуска по месту прописки, для равного количества людей. В другой сектор просто так не пройдешь: омовец не позволит, а протиснуться попытаешься — провокатор!.. Не нарушать массовость сектора, назад.

Скобы эти — не обнимешься через них, да и омовцы растащат в разные стороны. И плевать им, что, может, тысячу лет вы не виделись и столько же предстоит. А Учайкин знал наверняка, что здесь, в этом серпентарии, он отца встретит, нарочно в центре сосредоточивался. Чернавина, многих одноклассников, соседей и даже первую свою девочку, растленную им на поцелуй, и снова Чернавина и, показалось, что Рину, показалось, что друга, заведующего музучилищем, — он их всех повстречал и увильнул от них, сделал вид, что не заметил. Густые человеческие лица — будто незнакомые — знакомые, но с новых ракурсов; он их в коробочку фотоаппарата заключал, больше ничего — мотыльком бездействия, порханием. А отца увидел — как крикнет!.. Потолкались у разных сторон одной скобы — и все... Несказанного не оказалось, а разговоры разговаривать было не к месту. Отца (а Саша чувствовал наверняка) в гуще людей ждала женщина. Поэтому был так тороплив, поэтому не захотел идти до пропускного пункта, может, квасу выпить вместе — духота. Ничего, — сказал отец, — на днях тогда зайду, чаю выпьем или чего еще.

— Постой-ка, — вспомнил отец, — я ведь это... решил как... продаем мы с тобой квартиру. Я это уже давно решил, не первый год думал. Ты все равно там не живешь. Я... Да что я, ну это самое... на днях, в общем, расскажу... А сейчас покупатели хорошие как раз, иностранцы. Цену не спросят,

какую скажешь — столько и дадут. Им тут работать приспичило — вот и пожалуйте. Кстати, давай-ка, запиши ихний номер, это финны... Восемь-девятьсот... Если раньше меня придут, будь другом, уважь — проведи, покажи... Разберешься, короче, старик.

— Сам ты старик.

— Давно уже... — кажется, и не обиделся, — давай лучше, позвони им дня через три. Оклемаются после праздника — и позвони. Я там, в квартире, куда-то очки запотил... Хорошо, что вспомнил. Ты это, посмотри уж, где найдешь, может. А то никак без очков, даже газеты не читаю.

— Вот и не надо.

— Да просто интересно, куда запотил. Сам-то надолго?

— Проездом.

— Ну, короче, это самое... зайду я... На днях, да.

— Подожди... Как ты?

— Потихоньку, — улыбается без улыбки, руку протягивает. — Ничего так.

Обещанных «Соколов» все не наблюдалась на вечерующем небе — ни с площадной точки, ни с крыши Белого дома (куда забрались уборщицы, случайные ВИП-зрительницы), ни из снайперского прицела. Учайкин без раздумий набрал номер, после длиннющих гудков ответила женщина, не его. Попросил у нее в срочном порядке номер другой — Хеллы Турккила, — якобы она хотела осмотреть квартиру. Какую квартиру, а вы кто? — спросили его. Риелтор, — ответил Учайкин; и женщина номер продиктовала, так запросто.

Но Хелла квартиру покупать не хотела, она его хотела. Два профессора и директор музея ей давно наскучили, остальная научная братия тоже. Все время либо со своими финнами, либо одна, чаще одна, да, гораздо чаще одна, совсем одна, одна-одинешенька: хоть ты круглый, хоть граненый, хоть с крючками, как я.

*

За первый же площадной дом она повела Учайкина — захотела курить. Надеясь, что безлюдное место попадется, там бы она с грехом пополам. Это были обычные гаражи самого затаенного двора — обшарпанные, глухие. На слоистом асфальте газовый баллончик, смятый ногой; из одного такого баллончика главред мог выдуть историю на полполосы.

Нежность взяла Сашу за горло около этих неказистых стен, нежность ко всем тем, что ждут «Соколов» на площади, курят у гаражей или сидят по своим каморкам, полагая, что их не коснется, — всех что-то сроднило — от последнего алкаша (которым может стать его отец) до первого депутата (которым наверняка станет Кечин), все нянчились с этим Тысячелетием: говорили, говорили, во плоть приводили, выродили такого вот трогательного уродца.

Виделся Учайкину и птичьего лета Саранск: все, что заново его облицевало, а значит, олицетворило — гипсокартонными декорациями. Тогда, сменив нежность, цепанула жалость. А Хелла всего первую сигарету докуривала, она не догадывалась, как ее дымок растрогал и обнажил Учайкина, он перед ней уже весь, без отцовской рубашки, какой есть: даже Тысячелетием проникся, полюбил его.

Ненадолго. Хелла прикончила сигарету и задорно кивнула: вперед, — чуткое женское нутро распознало рокоты истребителей.

Самые фартовые позиции оказались у снайперов и уборщиц: им лучше всех видно, как «Соколы» носятся. Так носятся около половинки луны, что, кажется, сметут ее напрочь, будто это они слямзили ей полбока — а она и рада до́ смерти быть такой. Учайкину вспоминается: катались с отцом на санках с Ботевградского спуска, вот уж были там лихие виражи и кочки отбивали душеньку; едешь так, что только огни высоток проскакивают мимо и луна шатается в небе, тоже довольная, как

сейчас, томная карга. Там, в детстве, он врѣзался в самодельный мосток через Саранку и чуть в нее не свалился, а свалился бы — точно разбился, лед был крепок. И ведь что-то его удержало, чуть — и удержало.

Это крошечное, это микроскопическое — чуть; вот и сейчас — чуть-чуть и сложилось: она оказалась одна и близко, в соседнем секторе, она не сказала нет, и во взгляде ее читалось еще больше вызова, а может, просто стенала скука.

По набережной — сладостно-радостно-игристо — они шли, теребя друг друга русскими словами в тех смыслах, что понимал он, и в тех, что улавливала она; говорила, стоит признать, слишком хорошо. От одного берега смысла к другому, как огромная ладья по речке Саранке — плавучая сцена, на которой кружились танцовщицы в сверкающих одеяниях. По центру города вспыхивали тут и там софиты десятков таких импровизированных сцен — десятки концертов.

После парада газоны, рулонные стратегические, ядерно-зеленые, вытоптаны: Хелла хочет босоножки сбросить — Учайкин ее останавливает: осколков много; она вплетается в хороводы, смеется без умолку, Саше лишь бы не упустить ее, за руку держать, от рьяных желателей удерживать; хоровод завлекает и его, плещутся. Он сам себя не понимает; логика, скажи, силясь все-таки быть, — мои неведомые корни просят танцевать — а им зачем?.. Но Хелла просит — и он танцует. Плечи у нее красноватые, на солнце за день обожженные, его руки поверх.

На площадь Тысячелетия, смотреть новый фонтан, Хелла, поедем?.. В автобусе поздравляют кондукторшу с праздником. На каждой остановке кричат заходящим: «Шумбрат, ялгат!»⁹ Счастье какое, счастливость беспредельная. Все даром — всем и ото всех. Комм цу мир, майн дарлинг, дай я тебя обниму.

⁹ Шумбрат, ялгат! (эрг.) — Здравствуйте, друзья!

Коммунизм, паромельмарто, мерси-мерси, это же коммунизм, настоящий коммунизм.

Привет от президента — на одном из перекрестков. Сотрудник службы ГАИ, поджидавший президентский кортеж, кричал своему напарнику на другой стороне дороги: держи людей, выехали!.. Хотя нет, этого приветов Саша и Хелла не получили, не слышали.

На площади Тысячелетия фонтан по-китовски бил струей в небо и рассеивал водную пыль, они стояли мокрые и разгоряченные — то, как холод опускался, не чувствовали. Богатый георгиновый салют полчаса лизал небо — три трехкомнатные квартиры в центре города пустили на ветер. У обоих была уже земляничная — как первая любовь — жажда, и от вспышек, от грохота разболелась одна на двоих голова, захотелось дико есть. Их задаром кормили в ресторане на Московской: накрыли стол с цемаратом, позой, крахмальными блинами. На ресторанной вывеске висело зазывающее — каждый желающий может попробовать блюда мордовской национальной кухни. Но в темноте посидим вдвоем.

Да, Хелла?

Звезды глазят — голодные пескаррики. Как они здесь оказались — Саша с Хеллой — у мемориального кладбища в самом конце Коммунистической, не помнят, наверное, вдруг. Раз — и на троллейбусной остановке. Ветвистые березы окрашены разноцветьем от фар проезжающих машин. А на дне медного таза — на еште, голодные, на, — на черном и глянцевом от воды, эти голодные пескаррики ими насыщаются. Добреют, подмигивать начинают. Совсем теперь ручные. Рядом, в одном из переулков Коммунистической, кажется, он называется Первый или Второй Советский, есть дом общего моления. Все тебе, Хелла, будешь со мной? Подмигивают.

Раньше, как Саша возвращался из Москвы, домой не заходил, а сразу шел на это мемориальное кладбище или так,

ненароком, когда гулял, заходил. Кладбище это недействующее, неживое, мертвое. Никого здесь полвека не хоронили, последних — героев войны. Здесь, в середине его одиннадцатого класса, у них с отцом был недолгий, но все решивший разговор: смеркалось шустро, карминовые блекнущие звезды на могилах, синие дорожки, которые они протаптывали на нехоженом снеге...

— Боишься? — спросил отец.

— Нет, — всхорохорился Саша.

Вот и весь разговор.

— А вот и зря, — не успокоился отец, — живых хотя бы есть за что бояться... А Москва...

Отец принимался рассказывать, что такое Москва в его понятии, заключал неожиданно:

— Как ты не понимаешь! Я просто хочу, чтоб жизнь у тебя склалась!

— Да, — кивал Саша.

— А Москва... — и снова говорил... — Москва — это скопище языческое.

— Ты хотел сказать капище?

— Да все я сказал, что хотел. Хочешь — едь.

— Поезжай, отец.

— По-ез-жай! — передразнил отец. — Грамотей... а мы остаемся.

*

Он уже себя корил, упрекал и стыдиться заранее начинал. За то, что его слова прозвучат как из мыльной этно-рок-оперы, но все равно сказал:

— Мы с тобой, получается, одной крови.

Впускал Хеллу в квартиру, зажигал парафин, внутренне ликуя, что намыл полы: она босоножки скинула и босиком пошла.

— С отцом как, спрашиваешь?.. Ну... Нет, даже не на русском, все чаще молча. Он у меня из непомнящих. Это такие... люди, которые не знают, кто они.

От кого только урона больше.

Накануне Тысячелетия Учайкин заходил к Аверкиным с корбкой китайского зеленого, невыносимо было одному вечерами до работы сидеть. В Москве тоскливости такой никогда не было: из общежитской комнаты пар шел, работа кипела, контрабандой принесенный чайник свистал без умолку, чай по десять раз заваривали — одну и ту же заварку.

— Э-э-э... вот это квартира! — кряхтел Аверкин, примеряя рубашку. — Кругом подносы — никто за столом уже обедать не хочет, это о чем говорит, Саньк? О цивилизованной жизни. Время идет, а финно... угорские... э-э-э, да не вымирают... народы эти.

— Я больше всех получаю! — кричала на кухне Аверкина.

Саша не понимал, откуда тогда в ее голосе столько негодования.

— Да, я больше всех получаю! — кричала она громче. — Мне больше всех надо! Опять выговор — и два отгула сняли. Видали, снова получила! Я — выговоры, а он на парад собирается. Хоть бы слово какое сказал, жену успокоил!

— Не вымирают, говорю, — настырно повторял Аверкин, крутясь у зеркала, никого не слушая. — Э-э-э, только в паспорте русскими записываются. Раньше в паспорте, а сейчас в свидетельстве о рождении. — И остановился в зеркале. — Э-э-э, все одно, вымирают!

— Значит, ты есть непомнящий? — очнулся Учайкин на голос Хеллы.

— Нет... эрзянин я, наполовину, по матери.

— Немножко...

Но он не расслышал; непомнящий — гудело в нем. Отец, — подумалось, — а где похоронят отца? С ней ли — тогда в Каймарах,

— Ничего, — бесцветен его голос, — все бери, меня отпустишь? А я тогда пошел...

— Эй, Сааша! Я пошутила, я... — смеется. — Это... Это финская ирония. Наверное, так.

— Все нормально, пойдем, — он достает коробку из-под стола. — У меня здесь целый склад боеприпасов, пойдем взрывать?

*

В квартиру входили — дрожали. Резко похолодало, в августе уже стылые ночи, а коробка пиротехники — это ведь надолго.

— Коньяк есть? — спрашивает она. — Водка есть? А хотя бы молоко есть? Заболеешь, Саша... горячее, согрею, чтобы ты выпил это... — и из сумочки достает крошечную банку, светящуюся на просвет янтарем, — для тебя.

— А ты знала, что мы встретимся?

— Нет, конечно. Мед подарили на параде... или в ресторане... или... я не помню.

Они вместе дули на молоко — дуй, дуй скорее! — кричал Саша, а Хелла смеялась, и молоко, конечно, поднялось сахарной пеной и убежало, залило всю плиту.

— Мед, — говорила она, — как много дарили! Я все отнесла в отель, а эту забыла. Как я поеду обратно домой, я все не доведу!

— А ты оставайся, — гладил он ее красные плечи, нежно-красные, обгоревшие на солнце.

— Сарафьян ляной... — путала слова Хелла.

Лямки спадали на грудь. Она сдернула свой белый парик и показала гладенькую, в синеву бритую голову.

Запечатлеть бы, но как запечатлеть? «Зенит!» — вся пленка просажена на безделицы, а тут она — и пленки нет, ни кадра. (В саранском фотоателье запросили за проявку немислимую цену: они проявлять отсылают авиапочтой в Москву.) А где-то

ведь лежит отцов «Зенит». Настоящий отцов «Зенит»: солнце кругом — в Гаграх, в Сочи; интересно, где он сейчас.

Она валяется в цветах, утомленная. Пусть жиденькие лютики только нарисованы на ситце — пахнут полем; мятые лютики, мятые простыни. Никто не спал на его кровати, а теперь она; сразу с ним в учай-крошкиной кровати. Доброе утро, Хелла, еще только полночь — ни разъединиться, ни наговориться — взахлеб. За одну ночь решили опустошить ее двадцать два и его двадцать три года. А его за двадцать три уже уносит, если начнешь вспоминать: наложения акварельные, лессировки. И как вы только!.. по пятьдесят, по сто лет живете — одна больничная ограда (вот если мимо пройдешь) может выродить шквал воспоминаний, громоотводы не спасут. Противосудорожное и против астмы, его дорожная синяя сумка, хлебозавод, заводной апельсин, пожар, работа в гардеробе, плесень провинциальная, серая. Уж у кого-кого, не заливай, — говорили саранские друзья, — а у тебя точно жизнь не серая. Не серая, а какая? — хмурился. — Серо-буро-малиновая, вот цвет моей жизни.

Его выгнали из школы Родченко — сумбурный был, ветренный, снимал хорошо, но мало, и все заигрывался: то с цветом, то с формой, особенно с иллюзиями. Бензиновыми пятнами, зеркальными плоскостями. За такое, конечно, не выгнали бы, но ведь сам растворялся в бензиновых пятнах, исчезал. Любил фотографию, поэтому, наверное, и снимал мало. Слился, — обычно говорят про таких, а потом имя этого слившегося вспыхивает на какой-нибудь выставке.

Или не вспыхивает.

Когда-нибудь, года два спустя, он себе пощады давать не будет: будет только на ч/б щелкать. Черно-белое оставляет половину свойств — это уже без заигрываний; когда-нибудь он вернется в школу Родченко, чтобы уж наверняка ее окончить.

— Когда ты стал фотографировать? — спрашивала Хелла.

— Лет в двенадцать, отец подарил мыльницу... знаешь, что это такое?.. Премьер. Я тогда с этой мыльницей вдвоем все лето в деревне провел, не мог оторваться, все хотел заснять.

— А что это за деревня, есть она? Какой там мир, уклад?

— Хелла... Это был настоящий горячий мир. В этом мире... мы шли в галошах по сухой от солнца рассыпчатой земле... а она поднималась облачками. Там запах черемухи... горьковатый. Знаешь... Знаешь, а моя бабушка-эрзянка... она с девяти лет вышивала платье, чтобы в этом платье за моего деда пойти... Я у них в сундуке находил... да чего я там только не находил!.. А еще... Знаешь... Там так свежо и ароматно, что все время голодно. И как-то светлее там, чем в городе... и глазам, что ли, зорче. И дали яснее, и что дальше — тоже яснее.

— Где это, Саша?

— Там мама родилась, Каймары. Нищая и грязная деревня. Терпеть ее не могу.

— Ты говорил о ней тепло...

— Потому что тепло, Хелла, это не о Каймарах.

— Что ты хочешь сказать?

— Что хотел — то и сказал. Извини, нет, чего это я... Я хотел сказать, что после детства живешь в скорби по нему, прошедшему. Выудить отовсюду свое детство пытаешься. Даже вот праздник — он ведь для детей, они его празднуют, а взрослые отмечают.

— Отмечать? Я не знаю, что такое отмечать! Мы празднуем.

— Да, Хелла, мы с тобой празднуем.

А отец, — опять подумалось, — наверное, поминает. Сидит на мемориальном кладбище, цветное яичко о крест цокает и склеывает с грачами. И у него там мрак на сердце, а тут лучистость такая. Когда такая вот лучистость, живя в застенках обид, тогда и обид, конечно, не чувствуешь. Даже если б страшное увидел: отец вместе с ней, с Хеллой, и отец — моментально, раз — и тут, и этим вечером они совсем незнакомы Саше, стерпел бы, все равно бы счастье чувствовал. Он только перед рассветом в монотоне

от невозможности полного обладания и от того, что ночь идет слишком гладко, опомнился. Просто вдруг на рассвете, когда Хелла спала, а его томила бессонница и нахождение в чужеродной — он явственно почувствовал, что в чужеродной, — среде, плечи потеряли форму, обмякли. Горе нашло свою грозу, взвилось и ударило.

Он стал, тоскуя, бродить по квартире, все ее углы обтесывать — просторная квартира, но отчего-то не жилось в ней. Пригляделся — и вот, кажется, что стены оклеены газетами, воздух подвижный, знаком ему. Отец сидит за столом, подперев подбородок кулаком. Решетчатая скумбрия, самарское пиво. И никаких обоев с абстрактным рисунком, студентов-журналистов, вялого зеленого чая, по десять раз варенного, газет, метро, циников, надежд и возможностей — ничего нет; Москва еще не наступила; ну, здравствуй, папа! — аритмия сотрясает твое «здравствуй».

Тогда он понял — больше всех Саша перед отцом виноват, он один в ответе за отца оставался. И вот бы что сказать, вступить за отца, оградить его ото всего плохого, как дитя, тем более что сам за себя отец не вступится — промолчит или хуже того, молча согласится. Это затаенный страх непомнящих — не оказаться чужим, а быть своим где бы то ни было — это затаенное напутствие непомнящих своим сыновьям. И когда только отец сделался таким безропотным. Помнится, солдат он расстреливал только так — пульки рикошетили во все стороны. Или это и было его молчаливым согласием... Старик? Давно уже!.. А Света в крохе-учае не нашлась; за это Саша отца винил, что мать не уберег, а теперь и забывал ее, грачем-прихвостнем взъерошивался в поминальный день, и больше ничего. Поэтому ли в Саше так раненное просыпается, когда отец подбивает клинья к кому-то. Но больше-то, конечно, виноват он сам, Саша.

— Не так давно, — говорит ему Депардье, — снимаясь в моем последнем фильме, я оказался для съемок одной сцены

на кладбище в Буживале. Я видел могилу Гийома, в которой он больше не покоится: мама его забрала. Он теперь на камине — его прах, — очки сверху и кресло рядом. И старый номер Либерасьон валяется там, покрываясь пылью. Вот откуда они берутся, дерьмовые воспоминания. Не надо цепляться за воспоминания в жизни, пусть они живут у тебя в голове.

— Твой сын для тебя — дерьмовые воспоминания? А я — сам, я — сам! — кричал Учайкин, — сам дам название своим воспоминаниям. Я — телескоп, микроскоп, блоу-ап — выставяющий планы.

Зеркалка у него в руках, он таится в спальне, чтобы с рассветом заснять Хеллу, своей бритоголовкой похожую по очертаниям на — что за существо! — белый ламантин. Морская корова — соски сочатся молоком, череп просвечивает сквозь кожу. Вспышки будят ее человеком, она смеется, просит сигарету, встает и находит в стенке отцов табак — в Сашу на мгновение подозрение вкрадывается, — сворачивает самокрутку и уже курит; и Саша когда-то курил, но бросил, дорого. Домой с тридцаткой рублей возвращался — ей еще смешнее, ему не очень.

— Как такое вообще, вы... Как это, Са-аша?.. — как начинает нервничать — русский ее ломается, дрожит. — Как правильнее — раздолбай?

— Правильно не так, правильнее жестче.

— Что это? Ты шутишь?

— Нет, это наша русская ирония. Что ты смотришь на меня, Хелла? Что не так?

Она молчит, укутавшись в лютиковую простынь, импровизированную тогу, не понимает, а он говорит, говорит, говорит. И зачем только он это рассказывает, как будто хочет оправдать своего отца. Аверкиных своих, с восторгом хранящих, как обряджались хлебулочными изделиями под комсомольский вой. Кечина, ничейного Кечина — из мелкого рэкета в рейдерство,

из рейдерства в ФСБ. Чернавина — партийно-монархического. Главреда — хлоп-хлоп, топ-топ. Всю страну оправдать хочет, что прячется под лоскутным одеялом. Где-то в этой пестряди лоскуток, похожий на бегущую лисицу. От чьих стрел бегущую? Она — хеллическая блондинка, чтобы соответствовать типуажу, а под париком солидарность с Pussy Riot иметь, говорит правильные предложения: миссия у нее такая, дипломатическая — финно-угорские народы соединять, способствовать росту их национальной самооценки. А что, если мордовская самооценка так вырастет, что нам захочется отколоться от сахарной головы.

Нефти нет, — думает Учайкин, — газа, достопримечательностей... нет... ничего нет, пропадем. Знаем, что пропадем, поэтому лжем, мимикрируем, сливаемся. Лишь бы хоть как-то выжить? — хоть под чужим лицом, с чужими генами, со среднерусским оттенком глаз. Теперь же — верность отчаянно доказывать: день города в день страны. Какой-нибудь незаслуженный поэт республики еще и ораторию-кантату сложит на это, а незаслуженный артист республики споет. Отколоться... Стать по-настоящему республикой. Мордовия Либре. Финно-угорскую федерацию создать со столицей в Перми — так она говорит? В Венгрию и Эстонию стали бы ездить как в соседнюю область, в Финляндию летать... Эх-хе-Хелла... Со своим горем мы справимся в одиночку, так он думает.

*

Не ложился, все ждал, как совсем просветлеет, рассветет, хоть что-то станет ясным, и день начал с чашечки крепкого — как же задолбало все, вашу мать, — вылил в раковину. Табурет пнул от злости, тот жалобно пискнул: ножка сломалась. А следом фотоаппарат главреда, черная коробочка с тысячелетними мороками внутри, стоял на незастекленном балконе и — неловкое или нарочное движение — свалился с четырнадцатого этажа. Вдребезги. Учайкин покидал вещей в рюкзак и ушел.

Сон Хеллу все еще берет, овладевает — то ли заговор, то ли рассказ нашептывает, ледяные свои пальцы запускает — и запуталась она совсем. Хелла — взморье, песчаные берега — есть берлинская лазурь, а есть охра Хельсинки. Хелла чувствует разный ветер в течение двенадцати месяцев. Школу экстерном, русский учила, теперь по финно-угорским пошла. Без оглядки, сполна, босиком.

Газоны Коммунистической усыпаны блестками из кремлевской пушки, их так и не убрали, и они всхлипывают в рассветных лучах тоскливым золотом. Ангелы разоблачились, упаковали в коробочки крылышки — и стали простыми детьми.

Своим любимым постылым маршрутом идет Учайкин по набережной; у берега причалена ладья, по обычаю пустить бы ее на воду да сжечь. И вкрадывается в Сашу — во всего него, даже в рюкзак, даже в оставшийся от фотоаппарата второй объектив, сквозь который он привык за эту неделю смотреть на мир, даже в его наполненный «Зенит», — что-то тягучее, нефтеподобное, растекается по всему нему.

Флаги на площади Победы поникли на цапельных своих ножках, как тряпичные, а не вымпельные. Лезвие затупилось — обесточилось, обезлюделось. Тучи сгустились и стало накрапывать тем, что эти пару дней копилось и сдерживалось благодаря ядовитой бомбардировке бывших кукурузников. Дожди теперь будут потусторонними, открытыми, как стеклянное знамя, укрывающими.

Кечин бежит под зонтом к служебной машине, спрятался и, мутные фонтаны воды поднимая, умчался; и куда же он на служебной своей — на набережную: сесть там на скамейку и выпить бутылку самарского, пока народ не набежал, пока никто его не видит. И вздохнуть. Тысячелетие закончилось.

Лужи расправляют прозрачные стеклянные крылья; счастья не бывает, побывало — нахлебались и хорош, невмоготу; нам пришла пора наслаждаться втихомолку всем оставленным

после; другим же — самолетом отсюда лететь, самоходом, самодепортацией.

С аэропорта вспархивают несколько дополнительных мелкокалиберных АНов, что сподряжали к празднику, чтобы все гости могли улететь. В одном из них Учайкин — билет равен всему, что он заработал за эти дни.

Самолеты поднимаются на километр, на два, на три — Саранск сокращается, сжимается до родимого пятна, пупочка, точки, совсем исчезает. Учайкин смотрит в иллюминатор на эту метаморфозу, но после того, как увидел, пусть и мельком, крышу своего дома — больше ни о чем не думает: там, в его комнате... Ключи на кухонном столе, поломан табуретик. На асфальте у дома фотоаппаратные осколки позвякивают в лучах. Что бы он главреду сказал, принеся эти осколки — и ни одной фотографии. А что бы главред ему? — офигеть, мягко говоря, так сказать. Такой вот цветной чувственный лом. Теперь ему и снимать не надо: сдергивать со всего личины, сличать с реальностью, — некогда, надо жить. Жить тем, что есть. Когда-то ведь, кажется, получалось. А там, в его комнате... Там, в его постели. И прорасти, кажется, получалось, а отпраздновать до конца — с трудом. Трек-лист противосудорожный, приступ астмы, холод, — входим в зону турбулентности, пристегнуть ремни! — стратосфера, Космос, самое драгоценное... Там, на его подушке.

8

На следующее утро деревня неподалеку от Саранска перешла на чрезвычайный режим — архимандраж: собственным святейшеством прилетел Патриарх Московский и всяя Руси в детский лагерь, год назад им благословенный. Асфальтовые змейки, едва заворачивая за угол, обрывались. Кучи строительного мусора были спрятаны за фотообоями с изображением прошлогоднего

патриаршего приезда. Но он ничего не видел, ему все нравилось, он лучезарился и говорил: нашему молодому поколению так многое предстоит сделать в непростых условиях, оно не имеет никакой защиты, вы прикасаетесь к компьютеру, к мобильному, к айпэду, и перед вами открывается мир...

Данька сладко зевал, стоя в детской массовой.

— Не поддавайтесь искушениям, не верьте лжи...

В Саранске не переставал накрапывать дождь, хотя площадь Победы кружила людей, и все, учуяв необыкновенную для последних дней свежесть, выходили гулять. Идут крошка-сын в кепи, как у большого, и отец. Раздаются рокоты, люди радостно запрокидывают головы: «Соколы!» — малыш пальчиком протыкает небо...

— Это снова они?

— Нет, они теперь не скоро вернуться.

ВЗБРЫК

Рассказ

1

Поля, заросшие люцерной, скоро останутся позади. Мы решили так по верной примете цивилизаций: покой здесь стерегут высоченные бетонные столбы, по линиям которых бежит электричество к далеким деревням. К деревням, которых — как сказал Арсений, — слава богатым, не видно пока на горизонте.

Он присвистнул и закрыл лицо исцарапанными руками — руки пахнут пылью и тимьяном, он же чабрец, он же богородская травка.

— Какого черта Богородице до травки, она что, курила? — спрашивает он с досадой.

— Чуяла, дурак, и тебя тоже, — сажусь рядом с ним на землю: сел и потерялся. — Что это там у тебя?

— Приемник.

— Радио стащил?

— Он сам отдал, говорит, не работает. Вы молодые, может, подкрутите чего.

— Это тебе подкрутить чего. Опять, что ли, захотелось?

— Иди ты к черту, заколебал уже тебе повторять: условно!..

И тут я тоже распалился: срок — условно, преступление — условно, и жизнь, может, тоже условная?.. Пунктиром, вот прямо посреди этих полей.

— Иди ты к черту, говорю.

— Сам иди, тебе ближе.

— Иди же, говорю, к чо...

— А это дальше Зареченского? — не устоял я и ткнул его локтем в ребра.

Около двух часов назад мы убежали из Зареченского под лай собак, которых на нас (радио резко взвизгивает — включилось) натравил один доброжелатель. Шкркр шкррррр шкр шкркр кр кр — слушай, выключи, ничего не разобрать — шкр кр шкркр кр кр — выключи же, одни помехи!..

— А ты случайно... — вдруг догадываюсь, — мой навигатор на это радио идиотское не выменял?

— Какая, брат, разница?

Арсений достает из кармана самокрутку, старикову, из последнего дома. Только он закуривает, как радио начинает говорить чудесным голосом:

...таким образом обстоят дела...

...развитые страны не помогут...

...им подняться с колен...

Диктор — о прекрасной далекой Бирме, заполненной ароматным цветом... Вокруг томно покачиваются желтые цветы люцерны, сочно пахнет богородской травкой. Арсений успел нарвать цветов и скрутить из них венок. В показном экстазе он заваливается на бок и подставляет полуденному солнцу некрасивую щеку: «Ян, полечу-ка я в Бирму... Представь, построил бы там шалаш, стал буддийским монахом... и в следующий раз не переродился».

— Ты закончишь свои дни в психушке из листьев гуавы. Вот скажи мне, как мы без навигатора, бестолочь? Куда идти?

— Бес-толочь — а хорошо! Куда идти? Да наобум.

2

НА ТОМ СВЕТЕ

Нас довез до Ивановки мой троюродный брат Пашка, которого я ненавидела и ненавижу всей душой. <...>

Когда мы проезжали мимо ивановского кладбища, моя крестная мама, старше меня на десять лет, попросила Пашку:

— Посигналь ему, пусть знает, что мы едем.

— Вижу его, — сказала бабушка.

За голубыми деревянными крестами я еле разглядела каменную плиту и живой венок из разросшегося можжевельника.

Мы проехали кладбище за пару секунд, а он все сигналил.

<сигналил, сигналил и сигналил>

И в эту минуту не было мне ближе и любимее человека, чем Пашка.

В стеклянных наростах льда был наш старый ивановский дом. Его занесло снегом до самых окон, и тонкие стекла в них дрожали, как слюдяные. Мы загребали снег, пытаясь откопать дверь, и все не находили ее — дом был огромным: после войны здесь жили все бабушкины сестры и братья — восемь человек, а теперь — одна сестра, четырежды вдова за свой век.

— Дедая где вы своего оставили, аль в больнице лежит? — спросила заждавшаяся нас Баба Ада.

Я захожу в комнату и натыкаюсь на трюмо: оно разрезает комнату на части — троит меня, троит строгие лики красного угла, подушки на кроватях, насаженные друг на друга, — только потом, в глубине зеркала, троится и лицо Бабы Ады, — поворачиваю голову — она у двери, в кресле сидит, а я ее и не заметила.

— В морге оставили, — отмахнулась крестная и бросила на кровать сверток свежестыранного белья, завернутого в простыню; глаженое, проветренное, крепко пахнущее улицей. Бабушка развязывает узел, достает стопку наволочек и подносит ее к Аде, та нюхает простыни и мурлычет:

— Вкусно... вкус-но... но... вкус...

Ничем вкусным, кроме мороза, старые истертые наволочки давно не пахнут.

— Долго полоскала в холодной воде, чтобы свежие были.

Глаза Ады кажутся довольными, они начинают таять; какие же они у нее — бесцветные, недвигающиеся. Она и сама почти

полгода не двигается, встает редко: умыться или натопить снега, и из талой воды сварить жидкой похлебки. До Ивановки дошло электричество, но не вода; наш колодец давно прибрал к рукам сосед, преподаватель философии в городском университете, — его не переспорить.

...Я медленно иду по главной комнате, как бы здороваясь с ней, заново привыкая к тоскливому скрипу половиц и похоронным фотокарточкам родственников, висящих на стенах. Спугиваю диких кошек, они ныряют под кровати, выглядывают оттуда недоверчиво. Родились на чердаке в зиму и, не зная человеческой ласки, шипят на всех, из укрытий выбегают редко, только чтобы своровать со стола килечку. Мне все хочется поймать их и приручить, но не могу, очень уж шустрые, и у всех на личиках какая-то удивительная обаятельность. Это потому, что с людьми дел не имеют, как-то сказала Баба Ада.

— Пододеяльник с покрывалом сняла, махоркой больно уж пропахли, — говорит бабушка, сворачивая зеленый кусок материи. — К тебе особе, значит, приезжали выбирать? И за кого голосовала?

— За Сталина.

— Че-го?.. Да-а, сиди уж, помалкивай! За Сталина, смешно прям.

*

Пашка уехал в город и пообещал вернуться через три часа. Когда шел второй — мыли полы, в окно постучался какой-то старик и жестами стал показывать, чтобы его впустили.

— Заходи, Байгуш Иваныч, — крикнула бабушка в форточку, — открыто у нас. Голосовал?

— Работал я, — отвечал старик уже из сеней, оббивая валенки от снега. — Там за меня и так проголосовали, поставили галочку.

Старик заходит на кухню, принося с собой студёный воздух, и сразу садится за стол, но даже глазами порыскать не на что

особо. В голубом свете стоит на столе вазочка с красными голландскими яблоками — из города привезли, и никто не ест, потому что невкусные.

— Вина тебе, Байгуш Иваныч, — беспокоится бабушка, — в честь праздника налить?

— Это в честь какого?

— Как это — выборы прошли, и то хорошо. Чем не праздник?

Старик молчит. Бабушка идет к серванту, где пылится какая-то давняя бутылка, пустая.

— Кагор вот... закончился... и как... как ему угораздило кончиться... э, черт... Кто мог выпить? А я вот недавно подглядела, что священник в алтаре делал. После этого и кагор пить не захочется. Он жадно ел просvirки и запивал вином из кубка, из которого потом на причастии дают.

— Давно я в них не верю, в попов этих, — шепчет Ада, она незаметно вошла на кухню. — И никому не верю больше.

— Может, в магазин сходишь? — обращается бабушка ко мне. — Старику налить нечего.

— Никто ей не продаст здесь, — это уже крестная, — слишком молодо выглядит.

— Идите обе тогда, да-да, идите, а мы тут поговорим. И молока тогда купите, — просит Ада.

Живет в деревне, а молоко в магазине покупает, городское, из порошка.

Я собираюсь по-деревенски: надеваю старое драное пальто, некогда принадлежащее одному из мужей Ады, валенки натягиваю на шерстяной носок и заматываюсь пуховым платком. Крестная смеется надо мной: ну ты и пугало, моя хорошая; подцепляет меня за руку и выводит на белую улицу, от белизны которой начинает резать в глазах.

Такая тишь в Ивановке, что снег под ногой хрустит неприлично громко. Такая тишь, что и не веришь, что люди есть

на свете, — только далеко гудит что-то, далеко и так гулко, что кажется, это сама тишина сгустилась и громадными бусинами лениво скатывается со склонов.

На сугробах рыбьими ребрышками лежат отпечатки автомобильных шин и мелкие галочки птичьих следов. Мы идем, своими шагами стирая эту клинопись. Мы сами как птицы, дурачимся беззаботно и смеемся, кидая друг в друга снежки. Когда же доходим до отшиба, где стоит ивановский магазинчик, то замолкаем — обед, — и я спрашиваю:

— Пойдем тогда к нему, пойдем?..

Солнце ярко освещает снега и кладбище, горящее голубым огнем: у нас так принято — выкрашивать кресты ярко-голубой краской, под цвет неба в солнечные дни; в такие дни кладбище с небом сливается.

— Давай я закрою глаза, — прошу, — а ты веди меня, хорошо?

Крестная берет меня за руку, как в нашем детстве, и я иду по нетронутому снегу, под веками и закрытыми все равно бело; крепче сжимаю руку ее, словно на пути может попасться яма, и я упаду в черноту, исчезну из холодной солнечной Ивановки. Идти бы так всю жизнь: зная, что вокруг солнце, идти и идти, и чтобы конец тоже так наступил.

— Мне сон про тебя ведь приснился, — говорит крестная. — Хочешь, расскажу?.. Много маленьких кошек. Запрыгивают мне на руки, усаживаются. Их шерсть цвета твоих волос. Я уношу их из пустого дома. Ах да, это здесь, в Ивановке, где больше никого нет. Привези сюда, говорю тебе, своего жениха, мужа — кто там у тебя... Живите, отстройте дом, почините крышу. Несу кошек, иду по пустырю к часовенке. Там идет служба и стоит горячий церковный дух. Кошки прыгают на пол и переворачиваются в людей, они становятся на колени и молятся. Все, кто есть, в изумлении смотрят на них. А потом достают

из-за пазухи мясо и бросают людям-кошкам. Те с вожделием смотрели на мясо, еле сдерживались. Молитвы их становятся отчаяннее. И я тогда кричу людям: так же нельзя, нельзя же так! И все, проснулась. Вот это да... И как же здесь пройти? — вдруг останавливается она.

Я открываю глаза: впереди ледяная дорожка ручья, а подо льдом пузырится вода. Крестная решается первая, смеясь над моими тяжелыми валенками:

— Смотри — провалишься, утонешь! — а потом оборачивается испуганно... — А давай не пойдем?

Она смотрит туда, где два могильщика ширят квадратик могилы.

— Что, хоронят?

— Нет, пока только выкапывают могилу. Просто пройдем мимо, да?

Я иду за крестной, и когда доходим до них, боюсь посмотреть, словно они могут заразить нас одним только взглядом. Замечаю, что оба они молоды и какие-то неправильные: слишком задорно, неистово разрывают они железную мартовскую землю. Мы идем дальше, туда, где снега столько, что кресты не полностью видны — перекладины и макушки, да поблескивают стеклом горлышки бутылок и рюмочек на поминальных столиках.

— А теперь я одна пойду, — говорит крестная, — ты утонешь, не достану ведь.

— А в твоём сне, где я там была?

— Ты... Ты была в кошечках, в людях — во всем.

Я останавливаюсь, снег подо мной проминается, уходит вниз, где еще глубоко до земли и, может, стоит острием прут какой-нибудь ограды. Крестная же легко идет к каменной плите, к можжевелнику. Слышу, как она здоровается с братом. Расчищает плиту от снега — и на нас смотрит его молодое лицо. Я хочу

идти следом, но проваливаюсь и купаюсь в снегу, пытаюсь вылезти. Снег забивается в валенки и жжет, кусает сквозь носки.

На обратном пути, как только мы подходим к могильщикам, они нагло, по-городскому улыбаясь, просят:

— Помогите хоть, девчонки, неужели опять мимо?

Смеются и переглядываются, наверное, давние друзья.

— Чем помочь? — нечаянно срывается у меня, я оглядываюсь на них, впиваюсь в их лица, внутренне раскаиваясь — разяят... Какие они, с ума сойти, таких на кладбище обычно приносят. Разбитых на мотоцикле. На что сдалась им эта несчастная Ивановка, где еще десятерых стариков перехоронить — и нет деревни. Улыбаются.

— Где у вас тут магазин? Замерзли!

Крестная показывает в сторону отшиба:

— Вон за тем домом, но было закрыто на обед, мы оттуда. Сейчас, может, открыли. А кто умер?

— Не знаем, не наше дело.

На большой дороге слышим, как нас кто-то догоняет. Кричит один из могильщиков:

— Эй, погодите, который дом?

— Вон тот, зеленый, и крыльцо молнией пополам разбито. Так кто умер, наверняка ведь слышали?

— Из Юсуповки кто-то. Мы здесь впервые, из города, от «Черного ангела».

— Хотя бы женщина или мужчина?

— Мужчина вроде бы.

*

— Федяка юсуповский умер, — говорит нам Ада. — Таисия забегала, сказала, что два дня как.

— А где Байгуш Иваныч?

— Не дождался вас, не знай, где ходите. На том свете, небось, были.

Пока нас не было, приехал и Пашка. Бабушка заставила его дойти до чужого колодца на краю Ивановки и попросить воды, теперь вот тащит флягу: это только потому, что ты больна, а так бы не понес, сучья ты дочь, не понес бы ни за что.

Уже в машине бабушка говорит:

— Этот Федяка, когда Ада молодой была, все в женихи к ней набивался, а она прочь его гнала. Теперь вот сам ушел.

Проезжаем кладбище, дядя смотрит на нас издали, бабушка отворачивается:

— Я вот больше не верю... и Ада не верит.

— Ты чего, мама? — пытается улыбнуться крестная.

— Верю-верю, куда ж деваться. Молчу.

Бабушка берет меня за руку и прикладывает ее к своей влажной щеке.

3

РОДСТВО

Были мы двоюродными братьями или, как понеслось с той минуты, когда Арсений запнулся, представляя меня местному хулиганью, — два юродивых брата. Школа № 38, задний двор. Вымениваем краденные у деда сигареты — вот уж точно юродивые — на трепанные открытки, которые эти мальчишки так же воровали у своих. Однажды они принесли обломок лошадиной челюсти и, божась, что это человеческая, сплавил нам ее за целый блок.

Дед вечерами стрекотал на стеклорежущем станке, и после школы для нас этот звук был чем-то вроде спасительного горна. Быть с дедом, играть с ним в карты, ужинать вместе, не делать

уроков и остаться заночевать. Уляжемся вдвоем с братом на одну кровать — и рады... правда, потом Арсений все-таки вытребовал себе отдельную раскладушку; не спим до утра, все перешептываем — найденные археологами берестяные грамоты, а потом и всех школьных девиц, по очереди.

Но постсоветская депрессия родителей Арсения закончилась, они разбогатели, и все реже ссылали его к деду. Отдали его в языковой лицей, вскоре — в Москву, в лингвистический институт... а там он сам занялся баловством и распространением конфеток, а это уже не очень-то весело. «Хэлло, Китти», «супермены», «тюльпаны» — он их хранил в банке из-под мармеладок. Время по его часам 4:20. С утра до вечера 4:20. Когда он вернулся, дедушки уже не стало. На полках, на столе — всюду стояли его крохотные стеклянные фигурки, особенно много солдатиков, целый полк, который был разбит, мало чего тогда уцелело.

В тот год я окончил истфак и собирался ехать руководителем археологической группы на раскопки древнего дославянского города. Помню день, месяц спустя после выпускного, как в тот день звонили трижды. Первый раз кто-то ошибся. Второй раз кто-то ошибся фатальнее. Нам жаль, но проект финансироваться не будет, неактуально. Тех, кто звонил в третий раз, я уже не слышал. Увлеки его, пусть хоть землю копает, пусть наяривает, вытяни его, Ян, вытяни. И я отвечал, и я был согласен, и я был.

Я открыл глаза и увидел перед собой ослепительно-черного араба. Не сразу я признал в нем Арсения: он сидел против полуденного солнца, оно дышало ему в затылок и очерчивало сиянием голову в венке, как святых очерчивают нимбом. Я онемел, впечатленный и все еще не признающий его. А потом Арсений заметил, что я не сплю, нарушил освещение, повернулся, щелкнул радио.

— Уснул, что ли?

— Задремал. Я не разговаривал?

— Молчал как партизан.

— Мне дедушка виделся. А почему мы не идем?

— Так ты же спишь, — и тихо, с особенным отчаянием... —

одни помехи.

— Я не сплю. Хватит греться, пошли давай.

до Кувейта — шкр шкр —
улететь самолетами
авиалиний...
шкррр

— Слышал, Ян, что по радио? До Кувейта!.. Нам хотя бы до Арзамаса.

— Вставай, говорю. По памяти, через это поле должна появиться какая-то деревня. Пойдем наискосок, идти вдоль линий выйдет дольше.

Арсений встает покорно, но нехотя. Я оглядываюсь на желтое поле и бетонный столб, на нем — появилась или не заметил? — выцарапанная надпись. «Мы здесь были».

Были... Электрические столбы, а даже дороги никакой рядом нет, словно давно все заброшено и забыто людьми.

Мы шли молча, как бы одурманенные непрекращающимся желтым цветом и широтой горизонтов, только шум радио не смолкал — и я был не против, не хотелось остаться в полной тишине. Чем дальше мы отходили от бетонного столба, тем больше простора нам открывалось, и это поначалу было прекрасным.

Но кеды натерли ноги до крови, руки обгорели, а солнце все не переставало, хотелось пить. Поля люцерны — вот что странно — тоже не переставали, не заканчивались, даже не уминались; там, где мы проходили, люцерна поднималась вновь, не оставляя нашего следа.

Я все думал: мне привиделась Ольга, но зачем ей приходиться ко мне, смотреть на все моими глазами, говорить моим голосом. Полтора года не видел ее, Арсений — совсем недавно...

— Аррр, — шум радио сливается с моим голосом, я начинаю громче, — помнишь, как мы в первый раз ходили — шкр-шкр — копать?

— Если честно, как в тумане. Здорово мы тогда на... — шкр-шкр — а вот второй раз гораздо лучше помню.

— Ну еще бы, все остатки в том магазине скупили, — и тут я вовремя заткнулся, увел его первым, что в голову пришло... — А помнишь, как яблоню сажали с дедом?

Он посмотрел на меня недоуменно, а потом ответил, конечно, он это помнил.

...Второе копанье, ровно через год, который Арсений отбывал условно, люди осудили его. На раскопки мне не давали добро: неактуально, финансирования не будет, ищите остатки древнерусских городов, зачем дославянских, зачем так глубоко. После срока Арсению только разнорабочим дорога была. И он сам предложил мне вернуться в агентство к «Черному ангелу». Снова начало марта и... как там ее... Александровка, Юсуповка, Голицыно? Не помню уже, все они там рядом. Вся земля российская поделена между этими Юсуповыми, Голицыными... Хотя кого я обманываю, самая обычная Ивановка это была — разве забудешь.

— Я дурачился, — вспоминал Арсений яблоню. — Не со зла, понимаешь. Я так никогда и не спросил: сильно больно было? Ты сидел весь такой красный и молчал. Дед хотел меня отпороть. Ну, так как, сильно больно было?

Я засмеялся, вот так дуралей, лопатой меня тогда — и не больно?

— Нет, не очень.

— Мне смешно было, я дурачился... — твердил он, — я не со зла. Понимаешь, не со зла.

...На похоронах нам встретилась Ольга. Я ее сначала не узнал, а Арсений — сразу же. Там, в том марте, она все так же и стоит: некрасивая, в черном. Раскосая она чуть-чуть, где-то глубоко в нее вплетена татарва, а она и не знает. Должно быть, — почему-то подумалось мне тогда, — у нее тонкие щиколотки, у такой наверняка маленькие хрупенькие ножки. Когда она взяла горсть земли, я нарочно пригляделся к ее руке и увидел ободок кольца на безымянном. Мы с Арсением переглянулись, и уже тогда я по глазам его понял: плохо дело.

— Тогда было смешно, а теперь страшно, Ян.

Арсений посмотрел на меня мутными глазами, отвернулся и быстрым шагом, сквозь боль в ноге, — я почувствовал — пошел вперед.

— Скоро дойдем. Тебе идти тяжело... ты это... прости и меня, что я тебя так...

— Ты же понимаешь, я не про то совсем.

...В конце марта его вызвали в Москву по делу о конфетках, а оттуда он поехал куда-то еще, к ней, конечно.

Пять месяцев назад, в конце апреля, мы перестали быть служителями «Черного ангела», мы верили, что это так. Арсений был на взводе. Что, хватит, да? А как же тогда тебе дело с землей иметь? А давай снова ее на ать — пахать? А что?.. За это хотя бы денег дать могут, это не могильные метр на полтора, участки большие!

По виртуальным картам мы прошерстили ближайшие области и поехали по деревням, где еще верили в человеческий труд. Нет, бабушка, не за бутылку. Нет, тетенька, нам не нужно самогону. Нет, дедушка, не наливай сто грамм.

Сначала все шло, нам платили, да еще и кормили. Я собирал артефакты не столь давней, но истории — документы, открытки, письма, которые готовы были пойти в утиль. Арсений понял, ради чего мы здесь и, кажется, даже обиделся на меня тогда.

А потом нас невзлюбили, как не любят проповедников. В каждую деревню, куда мы шли, весть об этом доходила вперед нас, и местная алкашня начинала против нас бунт, потому что земля — это их промысел. Но за бутылку они копали до остервенения. Арсений передразнивал их... Мы пшеницу пьем и мы для пшеницы землю вспахиваем — пошли вон. Ярость овладевала им, и он норовил кого-нибудь изукрасить: и хотя был всегда худ и на вид даже слаб, такая сила вливалась в него в эти минуты, что я еле останавливал его. Все-таки нас было двое, а их — не счесть.

*

Мы оказались не там, куда шли изначально. Арсений достал из кармана самокрутки, их осталось три.

— Я думал, что больше, — процедил он. — И что теперь делать?

— Будем люцерну идти и рвать.

Я сделал к нему шаг, чтобы отобрать самокрутки, — хватит уже. Он дернулся от меня, завертел головой во все стороны и вдруг закричал:

— Э-э-эй, люди!..

Я вдруг тоже остановился и захотел так же закричать, чтобы горло засадило: «Э-эй!.. Э-э-эй!» — но не стал.

Арсений, опустошенный криком, упал на колени и запрокинул голову так, что венок с его головы упал в траву.

— Вот и Бирма, приплыли!.. Я никуда больше не пойду, надоело! Сил больше нет, Ян. Идите-ка вы все... Я остаюсь.

— Ар... — я старался не горячиться, поднял венки и зачем-то снова надел на него, — это временное бессилие. Как с конфетками... Кажется, закинешься — и будет Бирма. И да, может, Бирма и будет, но только там не слаще нашего.

— Отвяжись. Как того старика звали, последнего...

— Что-то красивое... расшифровывается как... революция мировая, что ли. Ре... ми... А, да — Рем.

— Спасибо ему, — он повертел в руке самокрутки и убрал их в карман. — Знаешь, он какой-то настоящий был, не то что все эти...

К Рему нас привели накануне; и хотя нас сразу предупредили, что старик уже сговорился с соседом, с Воронцовым, мы безоговорочно ответили местному мальчишке: веди.

Рем был старше своего дряхлого дома в Заречном. Рядом новый деревянный особняк Воронцова на три этажа, спутниковые тарелки, вольер для сторожевых собак. А у Рема лачужка; его ремзавод, ремпентхаус.

Старик сидел на крыльце, в тени, и первое, что я заметил в нем, — выцветшая слабо-синяя татуировка на руке — морская сеть и хвост рыбины или русалки. Мы подошли ближе, и я понял: он совсем не видит, он и нас слабо различает, улыбается настороженно.

В его ремпентхаусе, куда он позвал нас выпить с дороги, было тесно и жарко, как будто он и летом топил. Вся мебель, видно, самодельная. В углу удочки — все еще ходит на рыбалку. Двигается он тихо и бесшумно, да и не скажешь, что почти век на свете живет, — дотрагивается до всего и улыбается, как будто в первый раз.

— Садитесь — пейте, ешьте. Сегодня начинать поздно. Ночевать останетесь? Если не побрезгуете — в сенях есть диван.

Мы согласились, разделили со стариком его ужин и долго сидели за столом. Арсений был расстроен, потому что и ему это что-то напоминало.

— Мамка с папкой, — говорил Рем, — сделали меня в гражданскую. Для следующей.

— А у нас... — мне стало как-то невесело, — до сих пор гражданская, разве нет? Только невидимая.

— Гражданская — не гражданская, — вклинивался Арсений, — какая разница? Тебе не все ли равно? Главное — уж как-нибудь самому выплыть.

— А мне, брат, — как можно сильнее я ударил это слово, — не все равно, представляешь?

Теперь мне кажется, что в тот момент Рем нарочно потянулся к полке рядом с удочками, — чтобы мы оба заткнулись, — и достал хитро спрятанную бархатную коробочку, открыл. Конечно, мы сразу же замолчали. На дне ее лежало что-то железное и блестящее, за отвагу.

*

— Ни капли не осталось, Пиявица, — сказал Рем, сидящий к двери спиной. В дверях, куда свет от лампы не доходил, стоял большой мужик, черный, потому что неосвещенный или, может, потому что сам весь сам темный, спитый. — Иди к себе.

— Дай хоть переночевать, — просит этот гренадер и, не дожидаясь ответа, шлепается на табуретку; вскоре так и засыпает.

Старик накрывает Пиявицу тужуркой, берет с полки радио. Романс нежно заливается в тягучей мгле ремпентхауса.

— А вы как думаете, — пристаёт Арсений к Рему, — когда конец света наступит? Всегда ведь его ждали, вы это у Яна спросите, он же у нас историк. И мы его ждали, вот недавно, в двенадцатом году. Шуткой и немного даже надеясь. Но все же — не наступил.

Арсений щиплет хлеб и скатывает его в шарики, перед ним на столе уже много хлебных бусинок.

Пиявица проснулся, прислушался к Арсению и заявил:

— Это как я... Просыпаюсь на следующий день после конца света и думаю: а чем бы опохмелиться?

Сказал и снова уснул, такой счастливый и несчастный человек.

— И я спать пойду... — говорит Рем и заводит молитву перед сном: Отче наш...

Пиявица во сне смеется — интересно, что он там видит? Моя мама вообще снам разучилась. Она спит днем, а ночью работает, такие у нее смены, с двадцати лет она так. Во имя отца и сына, и...

Ночью кто-то уронил удочки, и они звонко попадали на пол. Пиявица проснулся, — подумал я, перевернулся на бок и не увидел рядом Арсения. Сволочь!.. Мы налетели друг на друга в сенах, он упал, и у него из-за пазухи на пол посыпались стариковские звезды, все до одной.

— Ты куда их, сволочь, потащил их куда? — схватил я его за шиворот и принялся трясти, а он еще и оправдывался.

*

В невидящие стариковские глаза я не мог смотреть, когда он спрашивал нас, кто это ворочался в сенах, собаки, что ли, забегали? Собаки тут бешеные, запросто могут. И счастье, что он не слышал, как мы с Арсением украшали друг друга. Когда закончили, я дал ему лопату: проснулся? Идем копать картошку!

К рассвету были готовы пять мешков. Часов в восемь утра к соседскому дому легко и красиво подкатила зеленая иномарка с московскими номерами. Из автомобиля выпорхнула тоненькая блондинка, следом за ней показался — отец ли, любовник — и сразу недоволен тем, что увидел из окна: ровные полосы вскопанного ремовского участка. Не сводя глаз

с Арсения, он прошел к особняку и позвал: Ладочка, будь добра, скорее.

Я помог Арсению втащить на кухню мешок картошки, и он принялся мыть ее и чистить; он бы всю картошку, весь мешок, если бы я вовремя не отобрал у него нож. Когда он очнулся и увидел перед собой высокую горку картофельного мундира, то поразился: что это я, в самом деле? Кто-то, наверное, голодный сейчас.

— Это ты вечно голодный, вечно молодой, вечно... — и я засмеялся: разукрашенного Арсения Рем не видит, а вот Ладочка!

— Я картошки с мясом сварил, — позвал нас Рем, — идите обедать.

— С мясом, с каким? — оживились мы.

— Да бог весть, какое было.

— Ну, царствие небесное ему тогда, приятного аппетита. Есть-то как хочется!

*

Я собирал рюкзак в дорогу и смотрел в окно, как на границе ремовского и воронцовского участков стоят мой брат и их Ладочка. Арсений вернулся раздраженный: ты знаешь, что этот про нас сказал? Ян, ты редкостный дурак, ты вчера ночью в запале разбил окно его веранды. Он теперь говорит, что мы либо и ему копаем, либо... А знаешь, сколько у него земли?

*

Если по-хорошему, — думал я, — то, конечно, ему как можно скорее нужно сделать укол от бешенства, хотя бы на всякий случай. Его чуть-чуть, слегка, но все-таки цапанули. Рана давно запеклась, но собачья слюна проникает все глубже, собачьей слюне, разве есть ей границы, она только и знает, что...

Когда Арсений закричал: город! смотри, город! — я ему не поверил.

БОЙНЯ

Огни очередного города удалялись и становились похожими на россыпь звезд. Простучали колеса сумок, и я снова закрыла глаза, чтобы не видеть, как расстилают белье. Через два часа проснулась на станции с названием «Красный узел». Белый старинный вокзал и — неожиданно — искусственные пальмы из мартовских сугробов. Рядом с ними то ли люди, то ли скульптуры, не разберешь, слишком короткая стоянка, и вот уже все поплыло.

На станции «Арзамас» мне захотелось бросить все и сойти. Эти бронзовые женщины по периметру, грозно смотрящие прямо внутрь вагона... Я кивнула одной: ну что, сестра? — и увидела свое отражение в стекле. Одумался он, сдал билет, не приедет? Обе молчали — и я, и она, и он тоже молчал, конечно. Мы ехали из разных городов в древнюю столицу эрзянского царства, чтобы там, на чужой земле, быть вместе.

Весь день меня все раздражает: его слова при встрече — опять в черном, зачем так траурно?.. незнание города, холодные волжские ветры, ворсинки на пальто, соляные разводы на сапогах, взгляды официанток в кафе — они словно все знают. Он хвастает тем, сколько могил выкопал. Он счастлив и поделился бы счастьем — лишь бы я не замечала эти взгляды, ворсинки, разводы. О разводе не думать... не получалось.

Нижний Новгород — портовый город с лодками, припорошенными снегом, со сторожевыми собаками. На одной из волжских набережных увозят утопленника — был рыбаком, и река его поймала, — мы подходим к обрыву и долго смотрим на рваную полынью. Потом так же долго, зачарованно — на ряды стеклянных банок в чайной лавке, соседняя с набережной улица, нечаянно зашли, уходя от сторожевых собак, которые принялись лаять на нас, прогонять с берега. В чайной лавке

начинаем игру с продавщицей, молодой и угодливой. Она рассказывает, я слушаю ее вполуха, только когда — а вот этот, он вызывает особое опьянение, — оживляюсь: это как?

— Вы когда-нибудь пробовали травку? — улыбается она.

Два пакетика, возем их на окраину города, где в квартале горчично-желтых сумасшедших домов, некогда построенных для заводских рабочих, мы сняли на два дня комнату. Тонкие картонные стены, как японские, большой обжитой коридор с разномастными дверями, кухня общая — большая, без стола, с табуретками, с видом на задний двор и на все те же желтые дома.

Только запершись и оставшись вдвоем, долго в темноте, чтобы пока не видеть, что нам досталось, — что на подоконнике лежат засушенные цветы, что в шкафу два фужера и что три освещения преобразуют комнату в три разных пространства, — только тогда я почувствовала себя спокойно.

Позже, потягивая древесную горечь чая, мы договорились быть этой ночью братом и сестрой. Как бы почувствовав, что его родство притесняют, позвонил его могильщик. Не отвечай, попросила я. Не отвечу, согласился он; сейчас так хорошо, давай чокнемся?

И мы чокнулись, окончательно, кажется, за мир. Иначе незачем. Жить в этом мире и не сойти с ума — я не понимаю, как это. Я, казалось, заново проживала свое рождение и детство, мама с отцом передо мной металась в постели, именно металась, с тех пор я возненавидела влажный шепот. Тянулась к мальчишкам, таинственно желая быть рядом; любовалась игрой стеклышек в зеркале воспитательницы, а потом строила четкий, но не омраченный взрослыми присказками план воровства этого зеркала. Просто желала обладать: зеркалами, мальчишками, тайной. Вскоре у меня появился воображаемый возлюбленный, вдвоем нам было не страшно перед этим

миром, где все уже придумано и названо. И даже самому главному имя нашлось, и это самое главное перестало быть нужным.

Но каждый раз все по-новому: жить по разные стороны баррикад и встречаться под одним одеялом — а после — лежать с женщиной в воде, как два однояйцевых близнеца в утробе, отмокать; стоять босыми ногами на раздолбанном паркете, мерзнуть и отогреться чаем.

Кольцо с моей руки закатилось под плинтус, я и не заметила как. Мы посмеялись и легли спать под одним одеялом, как брат и сестра, готовые к инцесту.

*

Первая ручка, оставив росчерк, закончилась на полуслове. Тщетно было расписывать ее, чертя круги, на листке оставались лишь царапины. Во второй ручке паста застыла. Как же, чем же написать, что ухажу на час-два-три, проветриться, унять этот звон внутри; когда чувствуешь себя звонче, значит, истончаешься. Не будить его, пусть. В его сумке, должно быть, есть хотя бы одна ручка. Зажигалка, чеки, записанная книжка, на обложке чайка.

Я прочитала все.

Весь список женщин, с которыми он встречается.

*

За завтраком снова звонил его брат, сильно хотелось ответить. Днем в городе я все смотрела по сторонам: сбежать, сбежать ли?.. Только бутылка непечатая в квартале желтых домов смущала — напьется. Мы спускались к самой кромке заледенелой воды и ходили, пока не замерзли, а потом — по склонам подниматься и ловить машину.

В комнате открыли злосчастное вино, заварили чай. Я резала хлеб, и нож из моей руки полетел в стену, отрикошетил и упал

у его ног. Я закрыла лицо руками, чтобы ничего не видеть — ни капли света. Кажется, я плакала.

[...]

Мы выбивали друг из друга жизнь, сцепившись как звери. Где она там у него притаилась? — я хотела ее вытащить и посмотреть. Душа моя почувствовала, что скоро асфиксия и смерть. И хорошо, что нож под кроватью, иначе я бы себя не простила. Три разных освещения в комнате и какая-то необычайная чернота коридора, куда он выпал.

Я проснулась от болящего сердца. Бежала в аптеку и боялась потерять сумасшедше-желтый дом среди десятков ровно таких же, одинаковых, поэтому как мальчик-с-пальчик надрала веток и втыкала их в сугробы на своем пути. Возвращаюсь — он пьет уже ненавистный мне чай. Звонит Ян, я не выдерживаю и беру... Алло! Алло? Но дальше — алло — у меня не получается.

*

Поезд, промелькивающий рядом, кажется полупрозрачным, как будто состоит из одного шума и света. Кажется, можешь пройти сквозь него.

Мы проезжали мимо длинных цепочек цистерн — куда же их? — и на них написано — срочно вернуть, но куда же — они заляпаны кровоподтеками нефти и стоят черт знает где.

Успело присниться, что дом наш ивановский сотрясает ветер, что голые пятки сударушек стучат по крыше, а рты у них землей вымазаны. Просила у всех: читайте какую-нибудь молитву, живые помощи читайте. Но они отвечали — не помним слов. Тогда стала сама, по памяти; там, где слов не помнила, — придумывала. На том и проснулась: а это в окошко вагона дуло, завывало, вот откуда взялось. Горьковская дорога пела, сладко, протяжно — провода ли это, рельсы ли, сам локомотив — горькая моя дорога пела.

Арзамас. На половинку часа, что кажется прекрасно долгой, схожу на платформу. Идет снег. Локомотив совокупляется

с вагоном, нас прикрепляют к другому поезду. Женщины с вяленой рыбой донимают меня. Женщины вереницей, что же нас — тоже прикрепляют к мужчинам? Грозные бронзовые статуи, хожу рядом с ними. Но мы же все разные женщины, и нигде, кроме как на игле пениса, больше не сходимся.

А потом — Красный узел. И я прозрела: вокзал Арзамаса — это точь-в-точь он, только белый. И под пальмами — скульптуры мужчин. Женщины хранят Арзамас, а мужчины — Красный узел. Стоит только за ниточку потянуть... и распустится узелочек.

5

КОНЕЦ

Радио валяется в траве, хрипя предсмертной агонией — больше не фурычит. Арсений, прихрамывая, скачет по полю.

Концерт в Большом театре — вот что вдруг вспомнилось мне. Чествовали покойного юбиляра, на сцену выходили его именитые дети, внуки и правнуки и по очереди читали строки из его стихотворения — дело было вечером, делать было нечего, — и вот...

один: а из нашего окна площадь Красная видна!

второй: а из вашего окошка только улица немножко, —

и по залу полусмех грустный, потому что никто в этом не сомневается, что из нашего окошка только улицы немножко, а из их... Только вот сейчас не сходится — нам вообще не нужно никакого окошка, у нас глаза бегут к горизонту и все добежать не могут. Видишь, Арсений, брат мой, как мы богаты стали.

— Где город? — не верю ему я. — Где ты видишь?

— Вон, — показывает он мне пальцем, — и вон! — в другую сторону, — и вон... — он вертит головой, не смолкая в хохоте, — а вон речка видна, искупаемся?

— Нет здесь рядом никакой, название только одно.

— Я курить хочу, — он достает самокрутки, я пытаюсь их вырвать, но он отбивается, пытается найти зажигалку, которую выронил где-то. Не находит и разрывает самокрутки на части, засовывает их в рот и начинает жевать и давиться. У меня нет сил его успокаивать, у меня остались силы только на то, чтобы спросить и услышать...

— Скажи мне, что было в марте, куда ты ездил, с кем?
Арсений молчит.

— С кем ты был, я тебя спрашиваю, в конце концов!

— Ты знаешь.

Я промолчал.

— Осуждаешь? — спросил он.

Я промолчал.

— А давай устроим прощенное воскресенье?

— Ты что, умирать собрался?

— Погоди ты... Не о том речь. Навигатор... Я отдал навигатор Пиявице. Может, он его продаст и пусть купит водки. Просто я подумал... Он же совсем не старый, он даже младше наших отцов.

Я молчал.

— Хочешь еще правды? Хорошо. Я ведь тебе завидовал всегда... Ты — старший, ты с дедушкой, ты с ним до конца.

Я молчал.

— Ян, пожалуйста...

— Вставай и пойдем.

Арсений встал, улыбаясь сквозь боль:

— Может, я закрою глаза, а ты веди меня? Я на это солнце смотреть больше не могу. Вот честно, не могу. Достало — слепит и слепит.

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя. Возвращение трепетных	3
Анисия. Рассказ	5
Зарницы. Рассказ	7
Четыре стены и что-то еще. Рассказ	17
Дары и мощи. Рассказ	46
Волосы Вороники. Рассказ	58
Младшие братья Кальвадоса. Рассказ	64
Перелетные. Рассказ	75
Родительский диптих. Два рассказа	81
Переиначь меня	81
Московский кинофестиваль	99
Николя. Рассказ	113
Винил. Рассказ	115
Атомный город. Рассказ	119
Нагоре. Рассказ	125
Мишенька. Рассказ	129
Тысячу лет без тебя. Повесть без кавычек	156
Взбрык. Рассказ	215

Литературно-художественное произведение

Лера **Макарова**

СВЕТОТЕНЬ

Рассказы и повесть

Руководитель издательского проекта *Роман Косыгин*

Литературный редактор *Евгения Долгинова*

Дизайн *Александр Петриков*

Верстка *Елена Фомина*

Корректор *Римма Болдинова*

Подписано в печать 15.11.2022.

Формат 64 x 90 ¹/₁₆. Гарнитура Charter.

Тираж 500 экз.

Заказ №

АСПИ

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1

Отпечатано в АО «Т8 Издательские технологии»

109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5

t8print.ru

16+